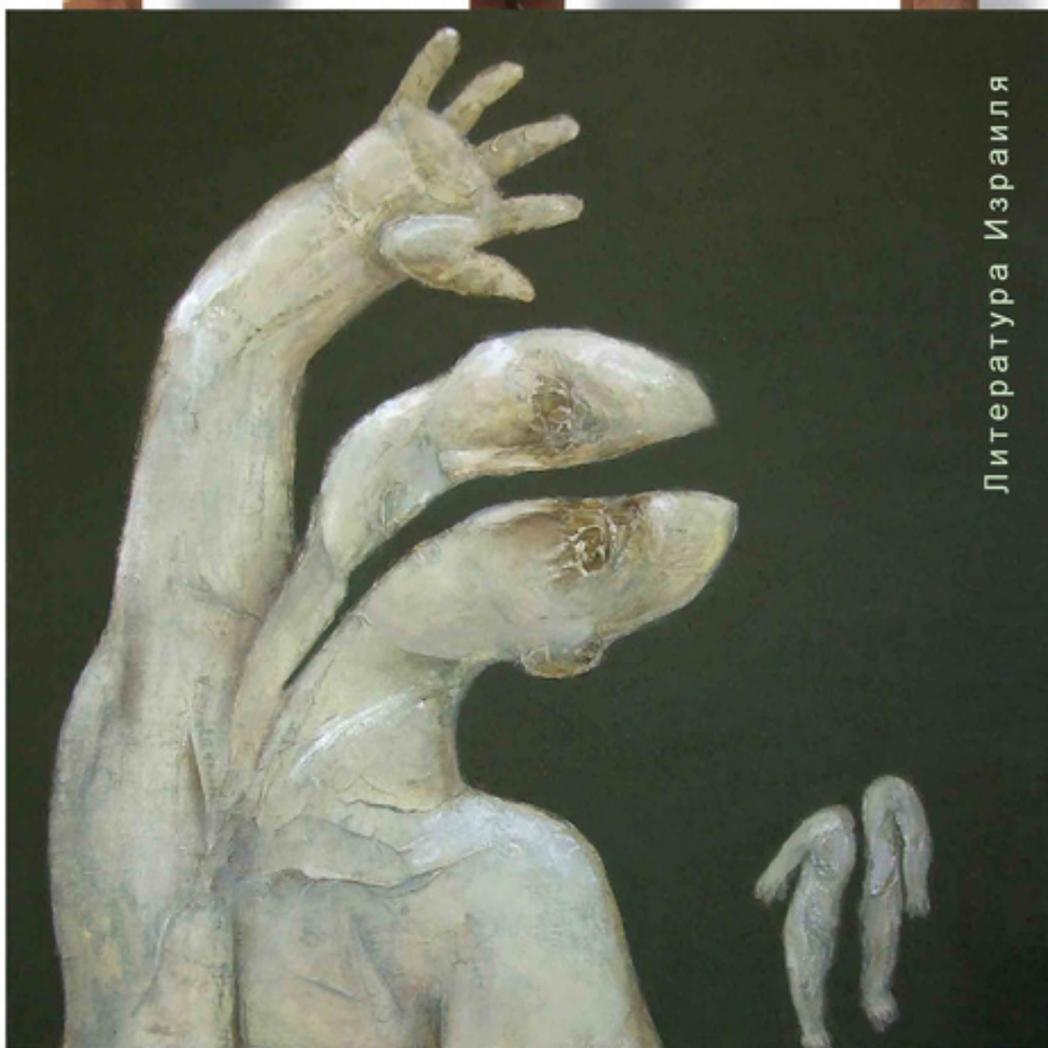


АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ

# Рассказы О РУССКОМ Израиле

Эссе и очерки  
разных лет



Литература Израиля

Аркадий Красильщиков

**Рассказы о русском Израиле:  
Эссе и очерки разных лет**

«Мосты культуры»

2011

## **Красильщиков А.**

Рассказы о русском Израиле: Эссе и очерки разных лет /  
А. Красильщиков — «Мосты культуры», 2011

Почти каждый из рассказов тянет на сюжет полнометражного фильма. Так появились на свет первые сборники моих опытов в прозе. Теперь перед тобой, читатель, другие истории: новые и старые, по каким-то причинам не вошедшие в другие книжки. Чем написаны эти истории? Скорее всего, инстинктом самосохранения. Как во времена доброй старой прозы, автор пытался создать мир, в котором можно выжить, и заселил его людьми, с которыми не страшно жить.

## Содержание

Жидовочка	6
Черный день	8
Еврейская месть	14
Яблоки после грозы	18
Отпуск по семейным обстоятельствам	24
Кошелек	28
Некоторые обстоятельства	32
Потомок Грубого Джона	35
Колодец	40
Вместе	45
Нет меня!	48
Шалом, Кецеле!	53
Собака – тоже человек	56
Положительный образ	59
Мальчик и женщина	64
Конец ознакомительного фрагмента.	66

# Аркадий Красильщиков

## Рассказы о русском Израиле:

### Эссе и очерки разных лет

©Аркадий Красильщиков, 2011

©Мосты культуры/Гешарим, 2011

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

В свое время, чтобы прокормить себя и детей, был вынужден заняться журналистикой. «Выпекать» приходилось по пять-шесть полосных материалов в неделю: очерки, фельетоны, интервью. За тридцать лет работы в российском кинематографе привык к графику, мягко говоря, более щадящему. Тем не менее объем работы каким-то чудом осилил. Боялся только одного – не умереть бы от скуки. Поняв это, стал осторожно подсовывать главному редактору всякого рода изящную словесность, тем самым развлекал самого себя по мере сил и лечил ностальгию по работе в кино. Почти каждый из рассказов тянул на сюжет для полнометражного фильма. Так появились на свет первые сборники моих опытов в прозе. Теперь перед тобой, читатель, другие истории: новые и старые, по каким-то причинам не вошедшие в те давние книжки.

Могу обнадежить – большая часть рассказов не длиннее той же газетной полосы, но, кажется, Самуил Маршак сказал как-то, что маленькие часы сделать не легче, чем большие. Чем написаны эти истории? Скорее всего, инстинктом самосохранения. Как во времена доброй старой прозы, автор попытался создать мир, в котором можно выжить, и заселил его людьми, с которыми не страшно жить. Сообщать читателям, что жизнь земная – юдоль печали, имеют право только гении, просто потому, что само их рождение – надежда на лучший мир. Всем остальным ничего не остается, как рассказывать сказки. Собственно, сборником нефантастических сказок и можно назвать эту книгу.

## Жидовочка

Салон самолета. Ночь. Лёту до аэропорта в Лодэ часа три. Говорит она на чудовищном сленге, характерном для пограничной полосы между Россией и Украиной. Но голос ее шепчущий мягок и мелодичен, а потому не вызывает раздражения.

– Дядю, ты спишь?

– Нет.

– Дядю, а там чего – одни жидаы?

– Евреи.

– Так без разницы.

– Есть разница.

– А якая?

– Скоро узнаешь.

Пауза.

– Дядю, ты спишь?

– Сплю.

– Тоды сюда слухай.

– Ну, «слушаю».

– Я ж сирота, дядю. Детдомовская. Папка и мамка в автокатастрофе сгинули. Я малая была зовсим... Посля у бабки жила отцовой. Злая была бабка. Ее паралич стукнул, а меня в детдом... У нас заведующая – Шутова Катя Ивановна, слышал?

– Нет.

– Ну!.. Всем нам мать родная, нежная такая... Это че, стих?

– Похоже.

– Ну, я даю. Надо бы ей отписать в рифму. Она теперя на пенсии, и детдома нет. Разогнали нас – кого по родичам, а кого в интернат при училище. Меня на фрезерное дело определили – ученичкой. В детдоме лучше было: кормили та простыни давали, а в этом интернате прям на матрасе и спишь, а Гусева на фанерке спала. Говорит, что для спинного хребта, но врет, потому что хребет – не хребет, а матрацев боле не было... Дядю, да ты спишь?

– Нет.

– Ты не думай. Я теперя знаю, кто такая. А раньше-то долго не знала. Зеркало увидела в первый раз в классе пятом. Ну, чтоб с понятием в его смотреть. Смотрю, вроде рожа у меня не как у всех. Все белявые, а я – одна чернота, и волос стружкой. В детдоме был у нас один китаеза, а так все похожие, как родня... Ладно, меня никто сбочь не ставил. Я боевая, сам видишь... Тут пока...

– Чего замолчала?

– Надсмехаться будешь?

– Не буду.

– Ты человек-то хороший?

– Вот этого не знаю.

– Ладно, расскажу... Як засмиешься – отсяду.

– Договорились.

– Ну вот... У нас на территории столбы меняли. Деревяшка-то вся сгнила. Упал даже один столб... Иду, значит, в мастерские, а он на столбе сидит с «когтями» и свистит, как птица. Так красиво свистит. Стою внизу и слушаю, не могу дальше идтить, а он посмотрел на меня и говорит весело так: «Тю, жидовочка!» Испугалась чегой-то и... улет... В субботу гостюю у директорши нашей – Кати Ивановны. Она мне и казала, что «жидовочка» – значит евреечка. Я, значит, такая и в документе, и обижаться не надо. А я и не обиделась. Я тогда совсем не

понимала, что люди разные бывают. Мне сколь было рокив – чуть пятнадцать исполнилось... Этого, с «когтями», оказалось, Женечкой звали. Он меня отыскал через неделю и гуторит, что забыть не может, что я ему в сердце запала. Любовь, значит. Ему восемнадцать рокив и по осени в армию, а мне – сам видишь. Только я его тоже забыть не могла, а все верила, что он возвратится и мне опять те слова скажет. Так и вышло... Значит, гуляем мы с Женечкой. Я до него нецелованная была зовсим, а после целованной стала. Я была на все согласная, потому что любовь без памяти, но он боле ничего не хотел, а гуторил, что из армии возвратится – в жены меня возьмет по закону, если верность сохранию свято. Он божился, что другой любви ему не надо. Одна нужна, и до гроба... Так...

Потом они пришли, прямо, значит, в интернат: двое – очкастая такая и тощий с великим носом.

Мы с девчонками как раз бульбы ворованной нажарили, а эти меня в коридор кличут. Гуторят, что им на меня наш замначцеха показал – Гинзбург Михал Григорич. Он за училище в ответе был. У него, значит, документы мои и метричка, где прописано, что мама моя погибшая была еврейской национальности. Значит, и я такая, и могу ехать в Государство Израиль, там учиться и жить. Я с ими гуторю, а сама думаю – голодной быть, потому как девки картоху сожрут непременно всю, до корочек... Ни, гуторю, не могу никуда ихать, потому что у меня парень есть Женечка... Толчемся, значит, на лестнице, и я им усе про нас. Женечка, пытаются, тоже еврей? Этого, гуторю, не знаю, без надобности было знать. Ты спроси, просят, а завтра мы возвратимся за ответом... Тут как раз и Женечка. Толчемся, значит, на лестнице – я и все ему про то. Послухал Женечка и грустный стал зовсим. Папа, гуторит, у меня осетин, а мамка пополам Россия с Украиной, а тебе, Анночка... Ты понял, меня Анночкой звать?

– Понял, понял.

– А тебе, гуторит, Анночка ехать в етот Израиль надо обязательно, потому как здесь не выкарабкаться, даже с «когтями». Там, гуторит, государство сытое, и о детях забота. Он от соседей слышал и по телеку бачил. Что бывает террор, так этого добра и у нас хватае... Женечка-то при семье, у него все есть: и соседи и телек. Там, гуторит, ты будешь не сирота... И простыни, спрашиваю, дают? Непременно, гуторит, ты чего плачешь, ты не плачь... Я ж тебе никакой не помощник. Мне ж в армию, может, в Чечню, а там... Что обо мне думать? Я тогда слезы утерла, за руку Женечку взяла, девулек всех выгнала... и велела ему меня... чести девичьей лишить – тогда поеду, он, значит, в армию свою, а я – в Государство Израиль. Правильно?

– Не знаю, Анночка, тебе видней.

– Он возвратится через два года. На столбах посидит, денег на билет накопит и ко мне прилетит. Так?

– Вполне возможно.

– Теперь, дядю, кажи... Женечка гуторил, что в етом Израиле на своем языке говор?

– Верно... Ивритом язык называется.

– А як на ем любовь?

– Ахава.

– Ахава, – тихо повторила Анна, будто примерила на себя это непривычное слово...

Последние двадцать минут полета она отсидела молча. Девочка – женщина с прекрасным лицом юной красавицы из песен мудрого и страстного Соломона. Внутри Анны пряталось существо, совсем непохожее на ее облик. Как-то помирятся эти двое? Как поладят друг с другом? Каким встретит эта необычная девушка своего суженого через два года?.. И встретит ли?

1996 г.

## Черный день

Они арендовали жилье в грязном районе Бат-Яма, заселенном шумной и подозрительной публикой. Им понравилось, что квартира находилась на первом этаже. У Зои очень болели колени. Что-то им еще понравилось, они уже не помнили что... В любом случае Древины оказались именно в этой точке Израиля, а не в каком-то другом месте.

Однажды, месяца через четыре после приезда, в жуткий хамсин, они сидели потные на потертом диване перед телевизором и под жужжание бесполезного вентилятора смотрели документальный фильм о России. И вдруг на экране замелькали кадры их родного города, города, которому они отдали лучшие годы своей жизни: сорок лет несли школьникам доброе, светлое и вечное – родную литературу и язык.

За окном, прикрыть которое было невозможно, оглушительно гремела протяжная, дикая музыка, кто-то на улице истошно орал на чужом, непонятном языке – и Древин вдруг заплакал, заплакал навзрыд, наверно, в первый раз в своей спокойной и в общем-то благополучной жизни. Он рыдал, сорвав очки и лихорадочно шаря по карманам в поисках платка, а Зоя все старалась обнять его седую голову, погладить и утешить мужа.

– Черный день! – вдруг выпалил, глотая слезы, Древин. – Черный день!

Они студентами познакомились, на третьем курсе. Матвеем понравилась Зоя, а Зоем понравился Матвей. Они не стали долго хороводиться и через месяц после знакомства зарегистрировали свой брак в загсе. Состоялось что-то вроде бедной, комсомольской свадьбы – и Древины стали жить вместе за платяным шкафом в общежитии. Случилось это в 1956 году, когда вся Россия надеялась на лучшее. Хрущев разоблачил культ личности и начал строить дома для простых людей, а не только для начальства.

Так получилось, что после защиты дипломов Матвея и Зою определили на работу в большой и промышленный подмосковный город. Там они и стали учительствовать в одной школе.

Молодожены очень любили свой предмет – литературу и неплохо ее знали. В те годы уже начали пробиваться робкие ростки диссидентского движения. Древины тайком, самиздастовскую копию, читали «Доктора Живаго», спорили о романе Дудинцева и мечтали о том времени, когда у них появится возможность и ученикам своим рассказывать об этих книгах.

Первый год молодые педагоги прожили на съемной квартире, но скоро им предоставили жилье в новом четырехэтажном, блочном доме. Это была огромная радость. Своя квартира! Комната в восемнадцать квадратных метров, ванная, совмещенная с туалетом, и кухня с небольшой прихожей! Их дворец находился на четвертом этаже, и вид вокруг на окрестные леса открывался прекрасный.

Древины были молоды, отсутствие лифта их не смущало. Они придумали свой персональный подъемник. Матвей устроил на подоконнике лебедку, и тяжелые вещи они поднимали с помощью троса, корзины и коловорота.

Надо сказать, что Древин любил не только литературу, но и разный ручной труд. Он мог смастерить все, что угодно, даже мебель, и талантом своим очень радовал жену – Зою.

Потом у них родился ребенок – мальчик. Снова была большая радость. И жизнь Древиным казалась наполненной смыслом, гармонией и справедливостью.

Вокруг них жили такие же бедные люди, как и они, а потому бедность казалась нормой и будто бы не была таковой.

В шестидесятом году Древины купили телевизор, но на экране никакой другой жизни они не увидели. Точно такие же люди, как и они, радовались, пели, любили друг друга, спорили из-за производственных показателей и отправлялись на стройки очередной пятилетки.

Ребенка Древины назвали Ефимом в честь отца Матвея, погибшего в сорок втором году под городом Ростовом. Матвеем и Зое очень хотелось родить девочку, но как-то не получалось у них это. В остальном все в их семействе ладилось. Ссоры случались редко. Молодые продолжали любить друг друга, а потому быстро находили пути к примирению.

Педагогами они были талантливыми, дети их любили, и в школу Древины ходили, как на праздник.

Иногда они позволяли себе некоторое вольнодумство, упоминали фамилии Мандельштама, Цветаевой или Ахматовой. И даже декламировали на уроках стихи этих поэтов.

В конце шестидесятых годов Древины осмелились на неслыханную дерзость. Они чудом, и с большими приключениями, достали серо-голубенький номер журнала «Москва» и стали читать своим старшеклассникам роман Булгакова «Мастер и Маргарита», чем невероятно напугали добрейшего директора школы Ивана Павловича Зеленского. Пришлось чтение прервать, но дело было сделано. Древины заразили своих детей любовью к Булгакову, и сами они стали фанатиками его творчества.

В общем, жили Древины духовными интересами, часто посещая московские музеи, театры и консерваторию. На материальную сторону своей жизни они обращали мало внимания, полагая, что аскетизм, кристальная честность и бескорыстие – высшая добродетель человека. И Зоя и Матвей были уверены: счастлив бывает только тот, кто умеет довольствоваться тем, что имеет.

В годы армейской службы, еще до института, Матвей вступил в КПСС, а Зоя так и осталась беспартийной, хотя ей и предлагали примкнуть к рядам строителей коммунизма.

Необходимо отметить, что Матвей Древин был евреем, а Зоя носила титульную национальность, но разговоров на эту тему у них не было никогда. Оба, и Зоя и Матвей, были просто советскими людьми, и упоминание национальности в разных документах считали пережитком былых и недобрых времен.

Свое же время они считали добрым и умным, а очевидные недостатки политической системы и быта легко устранимыми в ходе промышленного и социального прогресса СССР – передовой страны, завоевавшей космос и освоившей целину.

Как и большинство соседей, Древины жили от получки до получки. Иногда им удавалось скопить некоторую сумму – и тогда покупалось что-нибудь из одежды, обувь, велосипед сыну и так далее.

Родители Зои и Матвея жили обособленно. Зоины – в провинциальном городишке под Тамбовом, а мама Матвея после войны снова вышла замуж за состоятельного человека, какого-то начальника. Отчим не понравился Матвеем. Он рано ушел из дома, стал работать на заводе, потом армия, институт... Древин изредка навещал мать и свою сводную сестру, но делал это как бы по принуждению. В глубине души не мог Матвей простить матери измены погибшему мужу, его отцу. Он плохо помнил этого человека, но боготворил его и считал настоящим героем.

Только однажды мать Древина посетила скромную квартиру сына. Две ночи она спала на раскладушке, и два дня молча наблюдала за жизнью семьи Матвея, но перед ее отъездом состоялся не очень приятный разговор.

Ребенок заснул, просмотрев передачу «Спокойной ночи, малыши», а взрослые сидели на тесной кухне и пили чай.

– Нельзя так жить, – вдруг сказала мама Матвея.

– Вот интересно, – нахмурился сын. – И что тебе не понравилось?

– Мне все понравилось, – сказала мама Матвея. – Только нельзя жить так. Нельзя тратить все деньги. Необходимо откладывать на черный день.

Зоя улыбнулась такой простоте и наивности свекрови, а Матвей рассмеялся.

– Мама, дорогая, – сказал он. – Ты о чем? Какой такой «черный день». Если война, от атомной бомбы никакие деньги не спасут, а при мире мы и так не пропадем. Нам много не надо. Правда, Зоя?

– Состаримся – пенсию дадут, – сказала верная жена Матвея Древина. – Нам хватит.

– Черный день, – поднявшись, вздохнула гостя. – Вы дети, хоть у вас и есть свой ребенок. Черный день всегда стоит за спиной человека, и приходит он незвано.

– И что ты нам советуешь? – возмутился Матвей. – Фарцевать, спекулировать валютой, покупать брильянты? – Он произнес последнее слово с нескрываемым отвращением.

– Это ваши проблемы, что делать, – пожала плечами мама Матвея, но черный день придет обязательно, и тогда вы вспомните мои слова.

Потом она уехала, заказав такси по телефону, а через год умерла скоропостижно от болезни сердца. Матвей был на похоронах. Он по-прежнему не мог примириться с отчимом. Его тронуло неподдельное горе этого человека, но и на этот раз между ними не проскочила искра контакта.

Отчим хотел вручить Матвею три тысячи рублей (по тем временам большие деньги). Он сказал, что делает это по завещанию мамы Матвея, но Древин отказался от денег и даже оскорбительно намекнул, что предпочитает честно заработанные рубли сомнительным тысячам. Отчим не стал спорить и доказывать чистоту происхождения денег. Он просто спрятал их в ящик письменного стола и повернул ключ в замке.

На этом они и расстались.

Потом время незаметно ускорило, и Древины стали людьми пожилыми. Это случилось как-то неожиданно. Вот были люди молоды и вдруг – старость.

Сын их, Ефим, окончив школу, поступил в Московский университет на Ленинских горах, защитил диплом с отличием, был оставлен в аспирантуре, до срока защитил диссертацию и принят на работу в крупный центр по разработке космических технологий.

Древины очень гордились своим сыном. Только и печалились постоянно, что Ефим очень занят и видят они его крайне редко. Здесь необходимо признаться: и прежде сын рос необыкновенным и даже угрюмым сверх меры ребенком, любил одиночество и никогда особенно не ценил родительский очаг и ласку.

А Древины по-прежнему любили друг друга. Их авторитет в школе был высок, Матвей даже опубликовал небольшую книжку по вопросам воспитания, и его, после публикации, дважды приглашали на Центральное телевидение в передачу о педагогике.

Супруги были сравнительно здоровы и после шестидесяти лет даже не думали уходить на пенсию.

Жизнь тем временем раскручивалась по невиданной спирали. Казалось, сбывались их самые смелые мечты. Началась перестройка, заговорили о плюрализме, свободе слова и печати. Толстые литературные журналы начали публиковать фантастические по смелости, ранее совершенно закрытые цензурой тексты.

Зое и Матвею казалось, что поток великой литературы не иссякнет никогда. В эйфории свободы, в книжном изобилии они как-то не сразу заметили, что опустели полки магазинов и возникли серьезные проблемы с заполнением небольшого холодильника «Саратов». Впрочем, они никогда не баловали себя деликатесами, излишествами разными и теперь не очень горевали, отправляясь на «охоту» за костью со следами мяса или десятком яиц.

В девяносто первом году ушел на пенсию прежний директор школы, а новый и молодой решил устроить некое коммерческое заведение и назвал его «лицеем». Места в этом «Лицее» Древиным не нашлось, да им, если честно, и не понравились новые веяния и платная система преподавания.

Первое время пенсию им спускали регулярно, потом начались перебои, и Древины поняли наконец, что такое настоящая нищета. В магазинах появились продукты, по телевизору

показывали роскошь иноземной жизни, а они питались одной лапшой и картошкой, поджаренной на подсолнечном масле.

Да и книжный поток как-то вдруг иссяк. Оказалось, что замечательных, некогда запретных произведений не так уж много, и толстые журналы уже не радовали Древиных так, как прежде. Да и денег на внезапно подорожавшую подписку у них не было. Даже в Москву они перестали ездить. Билеты на электричку и в театр стали предметом роскоши. Износились купленные давно вещи. И в дождливый, осенний день Зоя поняла, что ей не в чем выйти из дома.

Матвей сделал попытку найти работу, уроки, но работы не было и для молодых. Они обратились к сыну за единовременной помощью, но Ефим в это время был за границей. Он преподавал в каком-то университете на севере Европы. На письмо ответила его жена. Она написала, что ждет ребенка, денег лишних у нее нет, и старикам придется рассчитывать только на самих себя.

Однажды к ним в гости пришел старый директор Иван Павлович Зеленский. Он сказал, что теперь навещает только тех, у кого есть лифт и кто живет на первых этажах, но к Древиным он забрался на четвертый, потому что увидел однажды у магазина Матвея и понял, что его бывшим коллегам и друзьям совсем худо.

Иван Павлович сказал Древиным, что им нужно срочно ехать в Израиль, используя национальность Матвея, а иного выхода у них нет.

– Сейчас, – сказал он. – Все едут за границу, кто может, потому что новой России не нужны дети и старики. Ей вообще не нужны больше люди, а нужны только полезные ископаемые, которые можно продать и на эти деньги содержать кремлевский двор и придворных жуликов.

Древин спросил у старого директора, почему так получилось, но директор только пожал плечами и положил на стол конверт.

– Вот, – сказал он. – Там немного денег. Вам хватит, чтобы уехать.

– Нет, нет и нет! – запротестовал честный Древин.

– Да, да, да, – сказал, тяжело поднимаясь, старик. – Это долг. Там старикам дают хорошую пенсию. Вернете.

И они уехали, захватив с собой жалкий скарб и два десятка самых любимых книг. И вот теперь Матвей Древин рыдал на плече у верной жены – Зои. Холодильник их был полон, причитающиеся деньги старики получили, и пособие ежемесячное пополняло их бюджет, да к тому же им удалось за семь тысяч долларов продать свою квартирку в Подмоскowie. И эти деньги были с ними, и тем не менее старики были глубоко несчастны в Израиле. Все вокруг им казалось чуждым, враждебным, опасным.

Тот мир предал их, а новый не принял. И, как им казалось, не мог принять.

– За что, – говорил Матвей Древин. – Мы честно работали. Мы не воровали, не грабили, не мошенничали. Мы учили наших ребят только хорошему: доброму и светлому их учили. Что случилось? В чем наша вина?

– Наверно, в этом, – отвечала Зоя. – Мы не так жили и не тому учили наших школьников. Им, наверно, теперь также трудно, как и нам. Они тоже бедны, потому что пришло время, когда честность и достоинство не нужны людям.

– Но почему? – вопрошал Древин. – Разве Пушкин, Толстой и Чехов зря писали свои книги. И Булгаков зря спасал своего Мастера и самого себя?

– Наверно, зря, – говорила Зоя. – Что-то было не так в том нашем мире.

– А в каком мире всё так? – спрашивал Матвей.

– Этого я не знаю.

Древины записались в русскую библиотеку, но, как ни странно, посетили ее зал всего лишь дважды, а потом и вовсе перестали туда ходить. Книги, привезенные с собой, были

читаны неоднократно. Телевизор – это изобретение человеческого гения стало их окном в мир. В мир, который они оставили.

Старики жили делами России, думали о России, спорили о России. Иногда им начинало казаться, что они и не уезжали никуда, а жили всё там же, только с четвертого этажа перебрались на первый.

Однажды вечером у телевизора они вдруг стали спорить о будущем правительстве Российской Федерации. Матвей называл одни фамилии, а Зоя – другие. Супруги внезапно перешли на крик и набросились друг на друга с непривычной и необычной злобой.

– Господи! – замолчав вдруг, тихо сказала Зоя. – Мотя, что с нами происходит. Если мы потеряем друг друга, мы потеряем все. Тогда и жить не надо.

Они обнялись, но память о той ссоре занозой застряла в сердцах Древиных. И сердца их теперь болезненно ныли от страха и предчувствия новых размолвок.

И тут случилось непредвиденное: их телевизор сломался. Срок гарантии не истек. Старики отвезли свой аппарат в мастерскую – и вернулись в опустевший дом.

По привычке сели на диван, как раз напротив исчезнувшего экрана, и молча уставились в пустоту.

– Знаешь, – наконец сказал Матвей Древин. – Страшно сознавать, что жизнь прожита зря.

– Глупости, – сказала Зоя. – У нас есть сын. Он большой ученый. И придумает что-нибудь замечательное для людей.

– Еще одну атомную бомбу, – сказал Древин. – Или газ, способный убить все живое на земле... А может быть, способ, как из одной яйцеклетки вырастить сразу полк солдат в касках и с оружием... Слушай, давай разом кончим это. Устал я жить, честное слово. Пойдем на море, возьмемся за руки и уйдем в воду. Вот и все.

– Идем, – просто согласилась Зоя.

Уже стемнело, когда они добрались до пляжа.

– Я думаю, не нужно раздеваться, – сказал Древин.

– Конечно, – ответила Зоя. – Мы что – купаться пришли? Давай только посидим немного.

И они сели на песок у самой кромки моря. Чуть слышно шелестел накат волн, вдали, в море, мерцали огни, а со стороны набережной слышались приглушенные звуки восточной мелодии.

– Ну, пошли! – поднялся Древин.

– Идем, – сказала Зоя.

Они не заметили этого человека во всем черном и в шляпе. Он стоял спиной к ним. Между ними и морем. Он стоял неподвижно, сгорбившись.

– Откуда он взялся? – раздраженно прошептал Древин.

– Не знаю, – отозвалась Зоя.

Матвей опять сел на песок.

– Подождем, пока уйдет, – сказал он.

Они ждали пять минут, десять, ждали час... Человек в черном не уходил. Он, казалось, застыл в одной позе и на одном месте.

– Знаешь, – тихо сказала Зоя. – Мне не нравится все это. Давай утопимся завтра – без этого страшного человека. Он наверняка бросится нас спасать. А нам не нужны спасатели.

– Хорошо, – согласился Матвей, и они направились обратно, к набережной.

Шагов через сорок Древин невольно обернулся, но никого не увидел у кромки волн. Пляж был пуст.

Эту историю рассказали мне сами Древины. Они так и не решились утопиться. Постепенно начали привыкать к новой жизни. Матвей даже устроился на работу по уборке, а Зоя нашла добрую подругу: такую же учительницу литературы из Вологды.

Телевизор старики смотрят гораздо реже, а вот к морю прогуливаются чаще, особенно после заката. Сидят там, у воды, на теплом песке, под высокими звездами и ждут чего-то. Наверно, того человека во всем черном. Но он ни разу больше не появлялся на пляже города Бат-Яма. Видимо, не было в том нужды.

*1998 г.*

## Еврейская месть

Клавдия Васильевна Зотова, русская, немолодая женщина, прибыла в Израиль по гостевой визе, выручить из борделя свою взрослую (37 лет) дочь – Екатерину.

Никто не просил Клавдию Васильевну о помощи. Екатерина регулярно звонила маме, присылала деньги на содержание сына, оставленного с бабкой, и сообщала, что работает на одном из заводов центра страны.

Но, как это обычно бывает, нашлись «добрые» люди и сообщили матери, чем на самом деле занимается ее единственная дочь. Известие это потрясло Клавдию Васильевну и заставило предпринять столь долгое путешествие. Человек сильный и решительный, она не стала уговаривать дочь по телефону бросить сомнительный промысел, а решила все уладить лично и быстро. Пристроила внука у близких людей, без особого труда преодолела сложности с визой и в конце марта 2003 года оказалась на берегу Средиземного моря.

В Израиле Клавдия Васильевна столкнулась с известными трудностями. Прежде всего, ее дочь была недовольна визитом мамы и наотрез отказалась возвращаться домой, в город Судогду, Владимирской области. Зотова тем не менее решила твердо добиться своего различными путями.

Зачем ей понадобился разговор с журналистом русскоязычной газеты, не знаю. Сразу сказал, что в этом деле помочь мы вряд ли ей сможем, но вскоре понял, что нуждается Клавдия Васильевна только в одном: ей нужно, чтобы кто-то терпеливо выслушал ее исповедь.

История жизни Зотовой мне сначала не показалась интересной, но тут Клавдия Васильевна обронила одну фразу, упомянув падение дочери: «Это мне лично еврейская месть».

Вот тут я и насторожился, спросил гостью Израиля, в чем ее грех? А в ответ услышал совершенно фантастическую историю, достойную внимания читателя.

«Из колхозу мне удалось сбечь в четырнадцать годков, – начала свой рассказ Зотова. – Нужны были работницы на торфоразработки. В деревню нашу прислали ответственного товарища, он меня и внес, без лишнего разговору, в списки, не поглядев, что годков мне мало. Я росту была большого и сильная на вид.

Два года потом жила в бараке и работала формовщицей на прессе по двенадцать – четырнадцать часов в сутки, но к пятидесяти первому году предприятие это свернули за нерентабельностью, в бараках селить стали бывших зека, высланных на сто первый километр. Я ж должна была вернуться в колхоз с голодухи пухнуть, но тут нашелся добрый человек, и устроил меня на ткацкую фабрику в город Порхов. По швейному делу я и трудилась до пенсии. Школу вечернюю закончила, потом техникум, а ушла на заслуженный отдых с должности мастера цеха.

Теперь скажу о главном. Работал у нас на фабрике один еврей семейный по фамилии Лонж, Яков Самойлович. Фельдшером работал в здравпункте. Был он женат, имел двоих детей, с большой разницей в возрасте. Старшему сыну – Вене, как мы познакомились, было уже семнадцать лет, а младшенький – Сашок – только родился.

У меня случилась большая любовь к этому Вене. Можно сказать, я из-за этой любви и поступила в вечернюю школу учиться в пятый класс, а он, Венечка, как раз, десятый кончал в школе обычной. Вене, может, сначала тоже показалось, что мила я ему и желанна. Я у него первой женщиной стала в жизни. Наша любовь с год продолжалась, а потом его в армию забрали, и он мне оттуда письмо отписал, что просит прощения за все, но больше близость со мной соблюдать не намерен, не хочет меня обманывать и предлагает его не ждать с Дальнего Востока, а устроить свою личную жизнь с другим человеком.

Много времени прошло, но могу смело сказать, что горя сильнее не было в моей жизни. Хотела даже руки на себя наложить.

Нужно вспомнить, какое было время тогда. Все вокруг говорили, что евреев скоро выселять будут на север, в лагеря, так как они «убийцы в белых халатах». Отца Вени с медицинской работы выгнали, но директор наш был человек добрый и умный. Он Якова Самойловича оставил при фабрике разнорабочим. Так и сказал: «До лучших времен».

Мне доброты и ума не хватило. Я страшным письмом Вене ответила. Смысл письма был такой: как он, жидовская морда, посмел меня, русскую девушку, бросить, надсмеяться над моими высокими чувствами.

Веня на это письмо не ответил, а я все горела страшным огнем. Я вдруг возненавидела не только его, но и все семейство Лонжей. Я тогда задумала страшную месть: решила украсть их недавно рожденного сыночка, отнести его в дальний лес и там бросить в снег, чтобы он умер холодной смертью. Я тогда подумала, что мне за это ничего не будет от властей, потому что все евреи в СССР будто стали людьми вне закона и с ними можно было делать все, что угодно.

Надо сказать, что наше общежитие было близко от дома Венички моего. Вот однажды и случился подходящий момент младенца выкрасть. Маленький меня хорошо знал и улыбался, когда я его в коробку большую из фанеры посадила. Так и несла до леса. Он мне оттуда агукал из коробки, а потом даже заснул. Так я почти бежала с Сашком боле часа, а потом ушла от дороги по глубокому снегу в лес, поставила коробку под ель и стала бечь от этого места.

Тут Сашок будто понял все и заплакал. Он плачет в крик, а я бегу. Потом, как-то вдруг, силы кончились, упала, хватаю снег губами и ясно понимаю, что не смогу бросить маленького так, на смерть.

Вернулась, взяла его на руки, а Сашок сразу плакать перестал. У него всю жизнь был такой характер. К людям с большим доверием относился. Никогда потом не верил, что человек человеку – волк, даже во взрослом возрасте не верил.

Ну вот, пригрела я маленького и думаю, что мне с ним делать? Ясно что: вернуть обратно родителям. Но как только я об этом подумала, сразу вернулись ко мне все мысли о моей несчастной доле брошенки и вся ненависть к Венечке и его еврейскому семейству тоже вернулась.

А надо сказать что до соседнего поселка было совсем недалеко от этого лесного места. Вот я и решила идтить туда, найти попутку и отвезти маленького в мою деревню, к маме. Она у меня, пусть ей земля пухом будет, добрая была женщина, хоть и совсем неграмотная и одинокая. Бог ей только одну дочь и дал, а отец наш погиб на фронте сражений с Гитлером.

На счастье мое – в том поселке сразу одного нашего деревенского встретила на мотоцикле с коляской. Он меня и отвез к маме. Веселый такой парень. Он меня сразу узнал.

– Клавка! – кричит. – С прибавлением.

Тут и поняла, как перед мамой объясниться. Я, надо сказать, больше года ее не видела и решила, что выдам Сашку за своего сынка, прижитого от случайного человека. Поначалу эту фантазию знакомому парню рассказала – мотоциклисту Федору. Он на меня как-то странно посмотрел и ничего не сказал.

А потом мама за мной бегала с вожжами и орала на всю деревню, чтобы все соседи слышали. Лошади-то у нас давно не было, с этой самой коллективизации, а вожжи так и висели на стенке сарая. Раз я дала для виду себя хлестнуть, на этом наказание и кончилось. Мама моя родная была вроде и довольна, что теперь у нее внучек объявился, и такой ладный, кормленный и красивый... Вот я оставила с ней Сашку, а сама, устроив в сельсовете все дела с метрикой, вернулась в Порхов.

А там уже большой переполох был. Младенца искали, но никто меня не заподозрил, как близкого семье человека. Решили, что цыгане (было у них стойбище рядом с городом) ребенка увели. Устроили даже налет милицейский на табор, но никого не нашли. На этом все успокоилось. Только родительница Лонжей места себе не находила, вроде как не в себе стала.

Сталин помер. Положили его в Мавзолей рядом с Лениным, а Якова Самойловича хотели вернуть на прежнее место в здравпункт, но он отказался, так как решила эта семья к родне ехать в Биробиджан, да и поближе к месту службы сына. Там его еще и ранило слегка во время танковых учений. Вот они и уехали, а я, как школу закончила, подала документы в училище города Судогды, туда и перебралась, там и работать стала на фабрике, будто подальше от греха.

Работала, училась, в деревню часто ездила, помогала маме Сашку растить. Время прошло, и стала я о нем думать, как о родном моем сыночке. Шесть лет так ездила, а потом зарабатывать стал неплохо, комнату получила и решила Сашку к себе забрать вместе с мамой. Она болеть стало тяжело, что-то с сердцем.

Так мы и стали жить на пятнадцать метрах втроем. Сашка в школу пошел, способным оказался к наукам. Учителя к нему относились по-доброму, ребята в классе тоже. Только однажды, ему только десять лет исполнилось, прибежал домой весь в слезах и кричит, что его кто-то жидовской мордой назвал.

– Мама, – плачет навзрыд. – Я же русский, а они так, почему?

– Русский, русский, – говорю. – Это они, дураки, по злобе.

Тогда мама моя в первый раз и спросила, от кого я Сашку понесла. Я тогда и сказала, что от еврея. Я тогда даже подумала, что отцом его мог вполне стать Венечка. Я даже сама себе поверила в эту неправду, что это так.

Теперь я вам немного расскажу о личной жизни. Мужикам я всегда нравилась. И дочка у меня, к беде, похожей выросла на мать... Были у меня романы. Были серьезные предложения руки и сердца, но ненависть свою к Венечке излечила я грехом своим, кражей ребенка. Ушла, значит, ненависть, а любовь осталась. И никак я не могла приблизить к себе человека, чтобы он постоянно был рядом со мной. Как подумаю об этом, так с души и воротит.

А в шестьдесят третьем году мама моя умерла от инфаркта, и решила я на брак с человеком положительным, непьющим, который потом признался, что любит меня давно. Это он, Федор, меня тогда подвез на мотоцикле с дитем украденным.

В шестьдесят четвертом году родилась дочь моя единственная, Екатерина, выходит – обманная сестра Сашеньки. Федор, надо сказать, и к Сашку всегда относился, как к родному, ни в чем не могу его упрекнуть. Только жизнь наша не заладилась как-то. Не смогла я к Федору привыкнуть, как к мужу. Вот мы с ним и расстались по официальному разводу через три год после рождения Екатерины.

Ну что дальше? Сашок мой на отлично школу кончил, медаль получил, приняли его в Московский университет имени Ломоносова, на математика стал учиться. К нам с Катей, часто приезжал, не обижал невниманием и потом, когда учился в аспирантуре, работать стал в «почтовом ящике» и женился. Счастливый был характер у моего украденного сынка, я вам об этом говорила. И не имелось у меня никакой тревоги за его судьбу.

Но тут – болезнь. Тяжело заболела раковым заболеванием груди. Случайно подслушала разговор врачей о своей судьбе, что жить мне осталось совсем недолго. Меня совесть стала мучить, и вызвала я Сашку прямо к операции своей. Он прилетел сразу же. Сел у моей кровати в этой чертовой районной больничке, смотрит на меня и говорит всякие слова и руки мне целует. Вот он отговорился, тогда и моя очередь пришла говорить.

Он все и узнал из моего больного шепота. И про ту коробку из фанерки зимой, и про своих родителей, и про мою любовь к его брату – Венечке. Шепчу и плачу, шепчу и плачу. Глаза закрыла, боюсь на Сашку смотреть. Потом открыла глаза: смотрю – по его щеке тоже слеза бежит.

– Жалко мне тебя мама, – говорит мой сынок украденный. – Так жалко, что и сказать тебе не могу.

Надо же, такие слова мне... Что дальше. Как видите, не померла я. Живу, вот уже тринадцать лет после того смертного приговора. А Сашка мой нашел отца, совсем старенького, и

брата (мама его к тому времени померла). Он их нашел, выправил свои документы по новой, а в 1993 году подались они всей семьей в Израиль.

У него и здесь все ладно пошло, встроился в вашу жизнь. Счастливый характер – он везде счастливый. Живут они с братом в разных городах, но дружат крепко. У Венечки могло не все сложилось, как надо бы. Возраст все-таки не молодой. Маялся он тут долго, но как-то и у него все образовалось. Семья у Вени хорошая, детей трое, уже внуки имеются. Я с ним два раза виделась. Один раз в России, другой – здесь, недавно. Все прощения просила, но он вздыхал только тяжело, ничего не сказал. Думаю, и не простил он меня из-за матери. Та всю жизнь Сашеньку своего вспоминала... Не простил, может, и потому, еврейское государство наказало меня за давний грех через дочь Екатерину».

Вот такой рассказ. Я по просьбе Клавдии Васильевны встретился с ее дочерью. Больше из любопытства, наверно, чем с надеждой помочь Зотовой. Сидели мы с Екатериной в кафе у старой автобусной станции в Тель-Авиве, и выслушал я на этот раз совсем другую, простую историю о тяготах жизни в России, о том, что за год работы в борделе Екатерина накопит немалые средства, а потом вернется в свою Судогду. А там, кто знает, может, и найдет нормальную работу, а возможно, и снова выйдет замуж за хорошего человека. Первый муж Екатерины, отец ее ребенка, «зашибал сильно и ходил на сторону». В Израиле работа у нее, конечно, не сахар, но «мужчины здесь народ деликатный». Так она и сказала – «народ деликатный».

Я что-то стал говорить о горе ее матери, но Катерина только отмахнулась.

– Вы не думайте, – сказала она. – Мамашка моя сюда явилась больше на Венечку своего посмотреть, да на Сашку. У нас с ней сызмала особой любви не получилось...

Клавдия Васильевна позвонила мне перед отъездом – попрощаться. Я испросил разрешения рассказать письменно о драме ее жизни. Она разрешила это сделать, только попросила изменить кое-какие детали в биографии и имена своих близких в Израиле, которым, может быть, будет этот мой рассказ не совсем приятен. «Да и Сашеньке, – как она сказала, – совсем не нужно знать, что его названная сестра на старости лет служит в борделе и не хочет, до времени, возвращаться домой».

## Яблоки после грозы

В этой истории документы использованы подлинные.  
Только фамилия главного героя изменена...

*Дано сие в том, что в метрической книге о родившихся по м. Тальное евреях за 1902 год под номером 174 мужской графы значится следующая запись: 18 декабря 1902 года у Лейзера Яновского из м. Кракинова и жены его Этель ур. Шапиро родился сын, коему дано имя Хаим.*

Отец новорожденного владел мельницей, амбарами и большим магазином на первом этаже собственного дома. Погромы начала XX века Тальное миновали – там был сильный отряд самообороны. Старший Яновский сохранил нажитое и даже приумножил его, полагая, что делает это с благой целью дать образование детям и вывести их за «черту оседлости» в мир больших возможностей. Торговец хлебом соблюдал обычаи, но в глубине души был убежден, что миром правит не Б-г, а деньги. Лейзеру Яновскому удалось подняться над чесночной местечковой бедностью, и он желал, чтобы его дети отличались от всех остальных детей мира не пейсами и лапсердаком, а уровнем знаний и удачливостью в карьере...

Бедняга совершил обычную ошибку, полагая, что само богатство есть гарантия правильного воспитания потомства. Он не был готов к Великому переделу 1917 года.

Его сын принял переворот с восторгом. Разбогатев, отец Хаима мечтал стать свободным человеком. Сам Хаим решил выполнить ту же задачу, расправившись с богатеями. Спятившее, бегущее время вербовало скороходов, не спрашивая на то их согласия. Сила противостоять безумию большинства – качество редкое. В любом случае за три года большевистского кошмара Хаим без особых проблем избавился от пут «веры Моисеевой» и отцовских «предрасудков».

*У.С.С.Р*

*Действителен по 9 декабря 1921 г.*

*Уманский уездный уголовный розыск*

*9 ноября 1920 года.*

*Мандат дан сей агенту Досовского района судебно-уголовного розыска рабоче-крестьянской милиции тов. Яновскому Хаиму, в том, что он призыву в ряды Красной армии не подлежит и по роду своей службы имеет право ношения всякого рода холодного и огнестрельного оружия, производить обыски и аресты по делам судебно-уголовного характера. Ему обеспечивается бесплатный проезд по железным дорогам, бесплатное пользование телефоном, телеграфом при беспрепятственном входе во все театры, кинематографы и увеселительные места. Он также имеет право требовать перевязочные средства по служебным делам и право свободного хождения по городу и проезд по уезду во всякое время дня и ночи. Военным и гражданским властям надлежит оказывать полное и законное содействие при исполнении им служебных обязанностей.*

*Его личность и собственная подпись  
Яновский Х.*

*Подписями и приложением  
печати удостоверяется.*

*Начальник уголовного розыска  
В. Пилипов*

*Секретарь  
Башилов  
Делопроизводитель  
(подпись неразборчива).*

Вот она – свобода. «Проклятый царизм» евреев в полицию не брал. Да и не только в этом дело: отец годами отвоевывал «гильдейство», стремясь без помех жить там, где заблагорассудится. А сыну даже проезд предоставили бесплатный. Отец привык платить за все, но и сам требовал, чтобы ему платили. Сын мог посещать «на халяву» «увеселительные места», имея вместо билета «кожан» и маузер на бедре. Как известно, в годы военного коммунизма частная торговля была запрещена, и все тяготы по справедливому распределению народных богатств взял на себя лысый коротышка в Кремле. Страна гибла, но ускоренно двигалась к коммунизму. Из семейных преданий известно, что ускорение нового времени оказалось не по плечу Лейзеру Яновскому. Совсем он отчаялся и опустил руки, предоставив заботу о доме жене.

К счастью, оказалась она женщиной деловой, энергичной и тайно приторговывала остатками пшенички, спасая от голодной смерти все семейство. Подтвердить это документами не могу, но думаю, что все так и было – младший Яновский страдал, но маму не арестовывал. По мягкости характера и из-за исключительной привязанности к родителям он закрывал глаза на «страшные преступления» против народной власти.

За скудной трапезой Хаим учил стариков азам политграмоты, рассказывая родителям о сияющем, счастливом мире завтрашнего дня. Рассказывая, он вскакивал и начинал размахивать руками. Глаза Хаима горели, а штаны, отягощенные мандатом и маузером, сваливались...

– Были бы все здоровы, – бормотала несознательная мама агента. Отец, как правило, отмалчивался. Он тяжело болел и готовился к смерти...

В 1920 году мужик вернулся с гражданской бойни и понял, что к Великому переделу он не поспел. В награду за службу комиссары реквизируют у верных слуг последнее. Крестьянин отказался подыхать безропотно и снова взялся за винтовку. Уголовный розыск потерял свою актуальность. Сознательного Хаима бросили на борьбу с мужичками. Очередной мандат не сохранился, но уцелели строчки автобиографии:

*В 1921 году вступил в отряд самообороны по борьбе с бандитизмом. Где побывал до января 1923 года, т. е. до реформирования ОПВДа.*

Безумцы в Кремле поняли, что от мертвого крестьянина не дождешься ни хлеба, ни покорности, и заменили грабеж продрозверстки обычной и привычной данью налога. Бунтующий народ успокоился и спрятал обрез за стреху сарая.

Хаиму тоже пришлось разоружиться и вернуться в Тальное. Отец его к тому времени благополучно отмучился, успокоившись под камнем на еврейском кладбище, а мать уже на законном основании продолжала торговать хлебом.

Два десятка лет прожил Хаим. Ложь догм учит человека только одному – жестокости и глупости. Хаим желал и дальше сражаться за дело мировой революции, но пришло время работать: создавать что-то в любви, а не разрушать в ненависти. Впрочем, новая власть учла заслуги своего защитника и определила его на должность полуначальственную: Хаиму вручили чернильницу с мухами и потрепанную амбарную книгу сапожной артели.

Шесть долгих месяцев держался «юноша со взглядом горящим», но на седьмой не выдержал: сорвал нарукавники, сплюнул под ноги старорежимным сапожникам и «рванул» в город Киев добровольцем Красной армии. В Тальном, при всем старании, он продолжал быть обычным еврейским парнем, а он считал себя «пламенным интернационалистом». Бывший агент желал превращаться, перерождаться активней.

Хаима записали в солдаты и вновь даровали привилегии. Были они пожиже, чем в «уголовке», но все-таки были. В стране повальной уравниловки все, и с самого первого дня, было

построено на неравенстве. Понять наших прадедов и дедов легко. Столетия – никаких привилегий – одно бесправие, а тут вдруг все сразу...

*Удостоверение*

*Дано сие отделенному вверенного мне полка тов. Яновскому Х. в том, что на его иждивении состоят члены семьи: мать, Яновская Этля – 55 лет, брат, Яновский Давид, 14 лет, сестра Мириам, 18 лет...*

*...настоящее выдано на предмет получения вышеупомянутыми семейного пайка...*

Кроме пайка, семья Яновского Х. не подлежала выселению из своего собственного дома, а брат и сестра могли и дальше «учиться коммунизму» в любом городе необъятного отечества.

В двадцать два года несчастный Хаим жрет скудный казенный харч и живет слишком уж нервной жизнью. Природой он не был подготовлен к такому быстрому превращению. У «солдата революции» открывается язва, и отправляют его к маме в бессрочный отпуск, удовлетворив жалованьем и положенной амуницией по арматурному списку.

Шинель дали «отделенному» – одну, рубаху летнюю, гимнастическую – одну, шаровары летние – одни, ботинки – одни, рубах нательных – две, брюк исподних – две пары, утиральник один и портянок одну пару...

Рубах походных, шаровар суконных, шлемов летних и зимних, сапог, лаптей и фуфайки выдано не было. Прочерк в арматурном списке.

По аттестату демобилизованный получил хлеб, соль, спички, чай и даже перец, а также кормовые деньги от ст. Киев до ст. Тальное.

*«...по расстоянию в 390 верст из оклада удовлетворен на 2 дня – итого 76 коп.»*

Вот они – тайные знаки превращения: копеечки, рубахи нательные, брюки исподние. Правда, лаптей не получил Яновский, да и данное при рождении имя осталось прежним – Хаим, согласно иному «арматурному» списку – свидетельству раввина.

Все же и здесь был сделан первый шаг. Сатана не торопится. К столу с договорчиком он нас подводит ласково и медленно. (Знаю точно, потому как и сам по этой дорожке топал.)

Но автор этого сочинения весь компромат уничтожил, а бедный Хаим был неосторожен. Так вот, сохранился документ в твердой корочке: билет члена дома («будынка») Красной армии им. Ильича. В билетике этом сын Лейзера и Этли впервые застенчиво именуется Ефимом... И все же хочется думать, что труден был первый шаг. Не так просто отказаться от своего имени. Впрочем, время было такое – время повального и всеобщего отказа. Хотя не совсем понятно, почему отказ этот, как правило, был односторонним. Не установлено ни одного случая превращения Льва в Лейба, хотя бы и в честь доблестного товарища Троцкого...

Отказался наш герой от гордого и радостного имени, означающего в переводе «жизнь». Дальше – проще. Стоило только начать...

*Поручение*

*Предъявитель сего субагент Госстраха тов. Яновский Ефим Лазаревич командирован в село Павловку...*

Покойный отец уже не Лейзер, он Лазарь, но пока что не Леонид. Все впереди. Агент Госстраха Яновский получил вторую книжицу в твердой обложке: Ефим Лазаревич стал членом Центрального рабочего клуба «Заповедь Ильича». Клуб занимался:

*«Сплочением масс в товарищескую семью на почве пробуждения и всестороннего углубления классового самосознания, культурно-творческой*

*самодеятельностью, а также предоставлением разумного отдыха и развлечений».*

Товарищеская семья «на почве пробуждения классового сознания». Сегодня что-либо понять в этом бреде совершенно невозможно. Какой больной мозг смог придумать все это и переродить в звуки? Бедный Ефим-Хаим жил в перевернутом мире, внезапно пораженном повальной эпидемией буйного помешательства. В этом мире все отказывалось от старых имен и получало дурные кликухи: города, деревни, улицы, театры... Почему бы и Хаиму не превратиться в Ефима?... Имечко вроде бы безобидное. Но уже отмечалось, как осторожен дьявол, – это дети новообращенных станут полными уродами: Виленами, Сталинами и Кимами...

Оставим в покое нечистую силу. Из автобиографии:

*В августе 1925 года я переехал в Ленинград и был принят на завод им. Энгельса, где проработал до апреля 1932 года.*

В дорогу взял Яновский не только старую шинель и мешок с провизией, но и справку из поселкового совета. На серой бумажке слева – штамп на украинском языке, а справа – на идише древними буквами иврита. В бумажке с великими знаками народной памяти наш герой вновь именуется Хаимом. Сопротивлялось первородство, из последних сил сопротивлялось. Все еще сыном своего отца уехал он из местечка, но ровно через год вернулся в Тальное полным Ефимом Леонидовичем... В те нервные годы никто без справок не ездил. Страшно было ездить без документика. Вот и рабочему человеку, гегемону, пролетарию, выдали на заводе им. Энгельса отпускное свидетельство. Выдали, как солдату Армии Труда.

Под документик этот использовало заводское начальство старую платежную ведомость за 1914 год. Старорежимная эта бумажка даже номер имела, подробный анализ работ, итог к денежной выдаче, штрафы и примечания. Напечатана была ведомость просторно, красиво и точно, а совковая писулька на обороте отбита безграмотно, бледно, на изношенной машинке. Тут не нужна никакая статистика, ученые труды по экономике, социологии и прочему. Плохо было в новообращенном городе с полиграфией, да и не только с ней. В Тальном хоть солнышко светило вволю, да и овощи, фрукты перли из чернозема в изобилии. Городские ездили в деревню на «откорм». Поехал и новый питерский пролетарий. Без особой охоты, надо думать, поехал, потому что в Тальном каждый знал, что Ефим Леонидович обрезан в срок, что отец комсомольца был эксплуататором-буржуем, а мать за торговлю мукой лишили в свое время избирательных прав...

В большом же городе, до поры до времени, конечно, все «грехи» списывались без труда. До поры до времени. Сколько же бедных «троцкистов, сионистов, врагов народа» попало на эту удочку. Наш пролетарий был всего лишь сыном буржуя и «лишенки», потому и «пуповину» не смог оборвать сразу. Это только при рождении ее перерезают без труда. Мать упрашивала старшего сына остаться, помочь в торговле, одуматься, наконец, но он вернулся в Питер, потому как твердо решил, следуя завету вождя, учиться. Тут и матери нечего было возразить.

Вернемся к автобиографии:

*Работая на заводе Энгельса, одновременно учился в Финансово-экономическом техникуме, в вечернем отделении, в течение двух лет, но ввиду двухсменности работы и женитьбы был вынужден бросить учебу.*

Бедный Ефим-Хаим. Не стал он агентом, военным, счетоводом, торговцем, бухгалтером. Даже путным рабочим он стать не смог. Вступил, правда, в компартию, но и оттуда его поперли в 1935 году «за сокрытие социального происхождения». Кто-то из земляков наступал на буржуйского сына.

Получилось у Яновского то, что получалось у всех его предков. Он женился и стал отцом мальчика и девочки. Женившись и отдав партбилет, Ефим-Хаим потерял революционный

запал. Глаза его перестали гореть, а штаны сваливаться, но старший сын торговца зерном принял свое больное время и покорился ему. В чужом городе, в чуждой среде романтика борьбы за передел мира сменилась тупой покорностью в жизни пошлой, тяжелой, отличной от прежней доли только повальной бедностью и беспросветной ложью. Штрафы Хаим-Ефим не платил. Он состоял членом всевозможных организаций.

Чернорабочий завода им. Энгельса был сразу же записан в общество «Рабочий патронат “Друг детей”». Платил чернорабочий за честь быть «другом» по 30 коп. в месяц, в военно-научное общество отдавал гривенник, за право быть членом Профсоюза рабочих-металлистов – 2 рубля ежемесячно, членом МОПРа (Международной организации помощи борцам революции) Яновский стал, поддерживая огонь мировой революции 15 копейками в квартал. Деньги небольшие, но членский билет он имел под номером 489036. В 1926 году получил Ефим Леонидович красивую книжечку с профилем почившего вождя на обложке и стал еще одним членом Ленинградского рабочего общества смычки города с деревней. Тут же, в книжечке, и объявлялось чернорабочему, за что отдает он этой «смычке» 15 копеек в месяц:

*«Город давал деревне при капитализме то, что ее развращало политически, экономически, нравственно, физически и т. п. Город у нас, само собой, начинает давать деревне прямо обратное». (Ленин)*

В цитате этой самое замечательное – два словечка «само собой». После гражданской бойни, разрухи и голода – «прямо обратное». И верно, стоит только поставить закорючку подписи под «договорчиком», а все остальное придет «само собой». За право жить впроголодь, в вечном страхе и мерзости, послушное население отдавало кровавой власти свою душу.

Главные «корочки» получил бывший Хаим в 1940 году. На обложке красной книжицы значилось:

Союз Воинствующих Безбожников С.С.С.Р  
членский билет 6073430,  
Фамилия – Яновский,  
имя – Ефим,  
отчество – Леонидович,  
вступительный взнос – 15 копеек.

Любой владелец билета платил по 1 рублю 25 копеек в квартал. Шли эти денежки, надо думать, прямо в банк сатаны. Дьяволу платил несчастный Яновский – силе, превратившей его в ничто.

Шесть миллионов граждан стояли впереди Ефима Леонидовича. Сколько их появится еще, до начала самой страшной войны с «воинствующими безбожниками» по другую сторону границы?

В 1935 году составил Яновский подробную анкету. Страшная существовала некогда бумаженция из 30 пунктов с подпунктами. Государство не нуждалось в живом и свободном человеке. Каждый был заключенным огромного концлагеря, именуемого СССР, в котором охранники общались с населением на языке допроса:

*Состояли ли раньше в каких-либо политических партиях, в каких именно, где, когда и причина выхода.*

*Принадлежали ли к антипартийным группировкам, разделяли ли антипартийные взгляды вы и ваши ближайшие родственники?..*

*Были ли за границей, если были, то на какие средства существовали?*

*Кем были ваши отец с матерью, а также родители жены?*

*Принимали ли участие в Великой Октябрьской революции и служили ли в старой армии?..*

Эти «ли-ли-ли-ли», как удары гонга в пустоте, как звон колоколов на похоронах превращенного и приговоренного гражданина «самой свободной страны мира» заставляли писать доносы на самого себя...

Эволюция неизбежна и плодотворна. Только революции обладают смертоносной дозой облечения, способной вызвать в человеке мгновенную нравственную мутацию...

В последних числах июля 1941 года Яновского убило осколком германской мины у бревенчатой стены хлева. Ефим Леонидович вышел на воздух облегчиться, но успел только протянуть руку к ширинке... Об этом событии документов не сохранилось. Как и о самом главном в жизни Хаима-Ефима, успешно превращенного проклятым временем в бездыханный труп.

Летние грозы отмывали и преображали пыльное местечко. Кипу тогда носил маленький Хаим, а не партбилет. Босиком, по лужам мчался он к яблоневому саду деда. После грозы там, на холодной и мокрой траве, лежали сбитые ненастьем яблоки. Плоды эти принадлежали только ему – Хаиму. Весь случайный урожай был его собственностью. Малышу казалось, что родились эти яблоки от грозы, упали с неба. Хаим ласкал прохладную тяжесть в ладонях и медлил, сколько хватало сил, с первым надкусом. Потом он сидел на отмытой траве, в центре чистого и счастливого мира. Он смотрел на далекую радугу и знал тогда, что радуга эта – знак согласия между Б-гом и человеком...

Ефим Леонидович Яновский не умел мочиться на людях. Ему нельзя было выходить из хлева по малой нужде. Ефима пробовали остановить солдаты отступающей роты, но он все равно вышел на воздух, дождавшись конца грозы. Вышел без страха и с чистым сердцем, когда в окрестных садах падали на землю яблоки и ничего плохого не могло случиться...

Счастье, конечно, просто родиться в этом прекрасном мире. Еще бы угадать – когда.

*1997 г.*

## Отпуск по семейным обстоятельствам

Недавно прочел статью, в которой доказывалось, что Древней Греции не существовало, а «копиист» Рим как раз и был подлинником всяких античных чудес. Подобной «сенсационной» литературы всегда было в избытке. Утверждалось, что татаро-монгольское иго – миф, что инквизиция никогда не разжигала костры, и Холокоста никакого не было, а евреи Европы сами вымерли по причине эпидемии тифа. Подобное не похоже на форму покаяния и следствие мук совести. Все эти попытки доказывают только одно: готовится новое рабство, новое иго, новые костры и новый геноцид...

Тысяча лет пройдет, и какой-нибудь писака сочинит «научный» труд, в котором легко докажет, что никогда не существовало нацизма в Германии и большевизма в России, Гитлер был всего лишь известным литератором и архитектором, а под кличкой Сталин скрывался медицинский феномен, долгожитель, человек проживший 182 года – Лазарь Моисеевич Каганович. На самом деле все было на белом свете, а потому и герой данного рассказа существовал. Свидетелей тому предостаточно. Вот и я постарался записать эту историю на манер свидетельского показания, также просто, как она была рассказана мне.

Хейфец Вениамин считался хирургом от Бога, а Соколовский стал врачом случайно.

В январе 1953 года «случайный врач» написал донос, в котором сообщал компетентным органам, что его коллега неправильным лечением умертвил генерала Кубасова, а также способствовал преждевременной кончине еще ряда ответственных работников областного и районного масштаба. Донос попал к сыну главного врача больницы, старшему лейтенанту КГБ Агапову, и сын, в нарушение всех правил, сообщил отцу краткое содержание доноса. Чекист сделал это, потому что доктор Хейфец спас ему жизнь, когда младший Агапов вернулся тяжело раненым с фронта.

Главный врач сразу же вызвал Хейфеца в свой кабинет.

– Что там было с Кубасовым? – спросил он.

– Он умер, – ответил хирург.

– Я помню это. Причина?

– Острая коронарная недостаточность. Мы сделали все, что могли. Федор Николаевич, а почему вдруг?

– Пойдешь в отпуск, – вместо ответа распорядился главный врач.

– Зимой? – удивился Хейфец.

– Да, и немедленно... С завтрашнего дня.

– Но у меня больные... Плановые операции...

– Завтра утром ты должен уехать из города, – сказал Агапов, – и как можно дальше.

Хейфец был из породы трудоголиков, в политике разбирался слабо, но и он что-то слышал о процессе «убийц в белых халатах». Хирург сел за стол главного и написал заявление с просьбой о предоставлении очередного отпуска по семейным обстоятельствам. Агапов сразу заявление подписал и сказал, что позвонит и распорядится о выдаче отпускных денег. У двери Хейфец замешкался, затем повернулся к начальству и поблагодарил Агапова. Главный врач промолчал, сделав вид, что ничего не услышал.

Утром Хейфец уехал, взяв с собой шестилетнего сына Антона. Мать ребенка умерла родами, и хирург воспитывал мальчика сам, но с деятельной помощью соседки, Алевтины Георгиевны, доброй одинокой женщины средних лет.

Соседка пробовала воспротивиться такому шагу, потому что сын Хейфеца страдал ангиной, и зимнее путешествие ребенку могло повредить, но отец сказал, что они едут на юг, там тепло, и мальчик, как раз напротив, поправит свое здоровье.

На самом деле он взял билет на поезд, идущий в западном направлении. Через сутки отец и сын прибыли в городок, на родину доктора Хейфеца, где он родился и жил до самого поступления в медицинский институт.

Городок этот был оккупирован фашистами на третий день войны, вся родня хирурга погибла, о чем и сообщил ему сосед, друг детства, Шамайло Тимофей Фомич, письменно, летом 1945 года. Сам Шамайло воевал в партизанах до осени 43-го года, потом вместе с Красной армией дошел до Праги, вскоре был демобилизован, вернулся домой и стал работать на местном сахарном заводе...

Отец и сын постояли у дома Хейфеца, где теперь жили совсем другие люди, а потом перешли заснеженную улицу, освещенную единственным фонарем на углу, и постучали в калитку высокого забора дома напротив. Сразу же хрипло и зло подал голос цепной пес, но смолк послушно, остановленный резким приказом. Звякнул засов – и сам Шамайло открыл гостям калитку. (По раннему времени он еще не успел уйти на работу.)

– Кто такие? – спросил хозяин, шурясь.

– Это я, Тимош, – ответил Хейфец, – Веня.

Шамайло отшатнулся, как от призрака, потом, всхлипнув, прижал щуплого доктора к своей могучей атлетической груди.

– Мой сын, – сказал хирург, высвободившись, – Антоном зовут... Я в отпуск, Тимош... Вот решил родные места навестить. Поживу у тебя, если не возражаешь?

Шамайло не возражал. Был он человеком хоть и крупным, но негромким, а семью имел и вовсе тихую – жену и дочку пять лет.

Он ушел на работу, оставив гостей заботам жены, и Хейфец, завтракая яичницей на сале, расспросил у Татьяны (так звали жену хозяина), кто теперь живет в его родительском доме.

Оказалось, что поселились там многодетные бедные люди. Отец семейства – инвалид, потерявший ногу в войне с японцами, а раньше все они жили в соседней деревушке, сожженной немцами дотла за связь с партизанами.

Дети понравились друг другу. Девочка показала Антону своих тряпичных кукол, а мальчик сказал, что может нарисовать ее портрет. Чистой бумаги в доме не оказалось, но нашелся карандаш, и Антон нарисовал дочь Шамайло на обложке брошюры – руководства по складированию сахарной свеклы. Рисунок он сделал удачный, и все потом радовались этому рисунку и говорили, что сын Хейфеца обязательно станет знаменитым художником и, возможно, получит Сталинскую премию за свое искусство.

После завтрака Хейфец взял детей и отправился на прогулку по родному городку. Он узнавал дома и улицы, водокачку, торговый ряд на центральной площади, но людей совсем не узнавал, потому что до войны в местечке этом жили в основном евреи, а теперь ему встретилось по пути всего одно еврейское лицо, да и то совершенно незнакомое хирургу.

Хейфец с детьми направился к школе, а потом вдруг подумал, что совсем необязательно афишировать свое присутствие в городке, и ограничился пустыми рядами базара и синагогой неподалеку. От синагоги мало что осталось – одна кирпичная стена с окном без стекол, но во дворе, по странной случайности, сохранился навес с железной раковиной и ржавым краном. Здесь, до 32-го года, отец Хейфеца резал кур. Он был резником и один в городке имел на это право. Потом синагогу закрыли, но старший Хейфец продолжал обслуживать население вплоть до начала войны...

Дети покорно шли рядом с Хейфецем, и ему было тепло от детских ладоней в рукавицах.

Так начался зимний отпуск хирурга. Гость с нетерпением ждал возвращения Шамайло, чтобы узнать подробности гибели своей семьи. Он обрадовался, что Тимофей пришел поздно, дети к тому времени крепко заснули. Хирург выложил на стол городскую водку и колбасу, хозяйка отварила картошку и подала ее, дымящуюся, на большом блюде. Блюдо, украшенное поблекшими цветами, гость узнал, а хозяин и не стал отпираться.

– Как их... это... повел немец на Фрунзе, мамка твоя убежала, блюдо это сует и говорит: «Бери, Тимофей, на память о нас и за все хорошее».

Шамайло рассказал, что евреев всех собрали на улице Фрунзе и держали там изолированно почти год, до весны 42-го. Людей из гетто использовали на лесозаготовках, но кормили очень плохо, и многие умерли еще до АКЦИИ, потом всех отвели в старый карьер и там расстреляли ночью из пулемета. В живых к тому времени осталось не больше пяти сотен, но сосед знал, что мать Вениамина и его младшая сестра не умерли с голоду, а лежат в карьере... Потом он рассказал о себе, как в тяжелые зимние месяцы собирал харчи для партизан, как немцы узнали об этом. Отца и мать Тимофея убили сразу, а его забрали в полицию, там били и требовали, чтобы он указал местонахождение партизанской базы, но Шамайло ничего не выдал врагам, а потом ему удалось бежать...

– Там, в карьере, есть что-нибудь? – спросил Хейфец.

– Ничего, – ответил хозяин, – вот только... березу я посадил на откосе, уже после войны.

– Завтра ходим, – попросил Хейфец.

– Завтра никак, в воскресенье, – сказал Шамайло.

Но в этот день случилось непредвиденное: Антону стало холодно, и он залез в будку злобного цепного пса. Мальчик не боялся собак. Он вообще ничего не боялся, потому что родился смелым, и у него совсем не было опыта страха.

Антон сидел в конуре, прижавшись к всклокоченной, вонючей шерсти животного, и пес постепенно перестал рычать и даже лизнул мальчика в щеку. Сын Хейфеца заснул в конуре и, когда к хозяину зашли чужие люди с какой-то просьбой, пес не стал выбираться на свет, лаять и гремять цепью. Он не решился потревожить мальчика.

– Спортили мне собаку, – сказал тогда Шамайло.

Он взял охотничье ружье, заменил цепь поводком и направился прочь со двора.

– Что ты хочешь делать? – спросил обеспокоенный Хейфец.

– Пошли, узнаешь, – буркнул хозяин.

Они долго брели через поле, к лесу. Место было открытое, ветер уносил снег, и по твердому насту им было нетрудно идти.

В лесу выручила протоптанная тропинка. По ней они и выбрались к карьере, где еще до войны рыли песок для нужд цементного завода.

– Вот здесь, – сказал Шамайло и привязал пса к стволу березы.

– Мама здесь? – тихо спросил Вениамин Хейфец.

– И Дорочка, – сказал Тимофей.

И от того, как было произнесено имя сестры, Хейфец не смог сдержаться, и заплакал, наверное, впервые со дня смерти жены и рождения сына.

Он не нашел в кармане платок и вытер глаза ладонью.

– Я твою сестру... это... любил крепко, – сказал Тимофей.

– Я не знал, – прокашлявшись, отозвался Хейфец.

– Она меня тоже любила, – сказал Тимофей, – я им в гетто харч таскал... Бульбу там, свеклу...

– Спасибо, – сказал Хейфец. Место это казалось ему страшным еще и потому, что на дне карьера лежал снег, могила была холодной, и ничто не отмечало ее, кроме памяти Шамайло, а теперь и его, Хейфеца, памяти... Он вспомнил о березе и поднял глаза. К дереву была привязана собака.

– Отвяжи ее, – попросил Хейфец.

Шамайло не ответил, он думал о своем. Он смотрел в другую сторону и сказал гостю, не поворачиваясь к нему:

– Это я их убил... всех.

– Что ты сказал? – не понял Хейфец.

– Я... это, – повторил Шамайло, повернувшись к гостю.

– Не понимаю, – сказал гость.

– Чего там понимать... Били тогда... Молчал, знал, что долго разговаривать не будут – шлепнут, но молчал, никого не выдал... Они ночью пришли в камеру пьяные и рыгочут, что Великая Германия мне оказала особую честь покончить жидив. Дали минуту на думу, а потом, значит, пулю за отказ – там же, в камере... Выпить дали самогону... Вот здесь пулемет стоял станковый, где березка. Фриц надо мной топтался, с пистолетом, на всякий случай... Грузовики светили фарами. У ваших уже и сил не было, чтобы бежать, а так можно было: ночь... Меня никто снизу не видел. И я никого не видел, видеть не хотел... Потом полицаи внизу достреливали шевеление всякое... Опосля они меня отпустили, но сказали, чтобы домой не шел... Я в лес подался... Вот и все...

Хейфец сел на землю, захватил снег в пригоршню и стал растирать им глаза, лоб и щеки.

– Я Дорочку убил, – сказал Шамайло, – и твою маму... Держи ружье, можешь и меня убить. – Тимофей чуть ли не силой поднял гостя на ноги и заставил взять оружие. – Стрелять умеешь?

Хейфец кивнул.

– Ну, стреляй!

Он стоял перед гостем. Мел смертельной бледности покрыл щеки Шамайло, в глазах его уже не было жизни.

– Я не смогу, – сказал Хейфец.

– Сука! Трус! Правильно вас! Стреляй, гад! Жидовская морда! – заорал хозяин.

– Не могу, – повторил Хейфец.

– Так, я счас, – вдруг засуетился Шамайло, – вот карандашик чернильный... Счас мы на «Беломоре»... «Прошу в моей смерти никого не винить»... Подпись, число... Какой нынче день, Венька?

– Пусть тебя судят, – прошептал Хейфец, – ты иди в милицию.

– Дурень, – сказал хозяин, – за что? За жидов? Ты сам долго не пробегаешь, газеты читай... Я орденосец. Меня пионеры на сбор приглашают... Свидетелей нет... И... это... только ты меня казнить право имеешь.

– Я не палач, – сказал гость, – живи с этим, если можешь.

Хейфец ушел вперед. Но вскоре услышал выстрел и повернулся на звук. Шамайло стоял у березы живой. Он выстрелил в собаку, но сделал это плохо, только ранил животное. Пес визжал от боли, и тогда хозяин выстрелил в собаку вторично.

Антон долго прощался с девочкой и приглашал ее в гости, а жена Шамайло Татьяна крепко поцеловала на прощание сына хирурга... Они успели на воскресный поезд и через день были дома.

Наутро Хейфеца арестовали, но сын Агапова сделал все, чтобы затянуть следствие. А потом умер Сталин, и люди в России перестали повсеместно мучить друг друга с таким рвением, как прежде.

Хейфеца освободили, и он сразу же приступил к работе, потому что сложных случаев в больнице накопилось много, а «случайный врач» Соколовский уволился, написав заявление об уходе «по собственному желанию». Он испугался последствий своей «бдительности». Город был невелик, все в нем знали друг друга, и доносчик был убежден, что местные евреи ему отомстят: отравят или даже пристрелят, будто бы случайно, «по шороху» – на его любимой охоте за кабаном.

2000 г.

## Кошелек

Рассказ солдата

Сплю я крепко, но тут проснулся среди ночи. Слышу – всхлипывает кто-то и громко всхлипывает. Ясно кто – Нафтали. Он мой сосед по комнате. Слушайте, если здоровый мужик по ночам слезы льет – это, я считаю, событие. Тут надо разобраться.

Но прежде о Нафтали. Парень – мой дружок хороший, но вырос в теплице. Нет, он как раз не кибуцник, а городской, но родился в семье богатого промышленника, сестер-братьев никогда не имел и вырос не то что балованным парнем, но каким-то не от мира сего. Его, видать, от всякой пакости берегли, охраняли. Отца его видел – нормальный мужик, а как иначе бизнесом заниматься. Матушка Нафтали – это совсем другое дело. Такое нежное создание с тихой улыбкой. Думаю, это он от матери набрался оранжерейного воспитания.

Нафтали, похоже, и в школу-то не ходил – дома учился. И сразу, из домашнего уюта, попал в боевые части. Но ничего, все выдерживал, даже как-то весело тянул солдатскую ляжку. Тиранут<sup>1</sup> прошел отлично. Помню, весь ночной кросс по пустыне тащил за спиной пуд ленточного пулемета «МАГ». Пятьдесят два километра тащил по бездорожью. Все в общем нормально было, только на каждую обычную черноту-негатив реагировал Нафтали так, будто до того и не знал, что этот негатив в мире – дело обычное.

Доходило до полной ерунды. Вот, например, отдают ему приказ вполне нормальным тоном, а он и говорит офицеру:

– Не надо на меня кричать, убедительно тебя прошу.

Один раз пошли мы на дискотеку, а там он одной девчонке понравился очень. Ее Риной звали. Так мне потом эта Рина и говорит:

– Твой приятель, он что – сумасшедший?

– Это, – спрашиваю, – почему ты так решила?

– А он мне сказал, что поцеловать меня не может, потому что не испытывает ко мне чувства любви.

Помню, в Ливане он, в плечо раненный, рану скрыл и в вертолет забрался последним, да еще другим помогал. Я тогда удивился и спросил, чего это он скромничает, а Нафтали ответил, что он и раненый – сильнее многих здоровых. Это было правдой. Таким он был силачом, при всем своем тепличном воспитании. Я таких редко встречал. В общем лежит этот амбал, не спит, а рыдает, как девочка.

– Ты чего? – спрашиваю. Сразу замолчал, только, помолчав, вздохнул тяжело. Тогда я вылез из мешка спального. Холодина была, дождь на улице хлестал. Очень, помню, не хотелось вылезать. Прошлепал к лежанке Нафтали, сел рядом. – Болит чего? – спрашиваю.

– Нет... Иди спать, – отвечает.

– А чего плакал?

– Тебе показалось.

Ну не хочет человек откровенничать – его право. Я встал, но тут Нафтали и говорит:

– У меня кошелек украли.

– С документами? – спрашиваю.

– Там все было.

– И деньги?

– Пятьдесят шекелей.

– Ладно, переживешь, – говорю. – Только в полицию сообщить надо и в банк.

---

<sup>1</sup> В израильской армии – курс молодого бойца.

– Ты ничего не понимаешь, – снова всхлипывает Нафтали. – Не в деньгах дело и документах.

– А в чем еще?

– Я его подвез. Он тоже солдат. Такой парень хороший. Так говорил хорошо. Мы с ним за час подружились. Он вышел на перекрестке, а я потом ищу кошелек – и нет его. Он между нами лежал. Он всегда там лежит.

Дело в том, что у Нафтали своя роскошная машина. Он на ней домой ездит, в Тель-Авив. Всех всегда возит и на обратном пути таких же, как он, солдатиков подсаживает.

– Ты проверял, – говорю я. – Может, кошелек дома забыл?

– Все перерыли – Нафтали даже из мешка вылез до пояса и сел. – Понимаешь, такое у того парнишки лицо хорошее было и улыбка. Он мне сказал, что у него сестра есть – красавица, и он хочет свою сестру со мной познакомить, потому что я ему тоже очень и сразу понравился.

– А как зовут, сказал?

– Кого, сестру?

– Да нет, этого, с тремпа?<sup>2</sup>

– Нет... Погоди, он сказал, что в школе у него была кличка – Груша. И правда, что-то у него в лице было от груши: нижняя часть шире верхней...

– С документами, – говорю, – возни будет много.

– Да не в этом дело! – прямо-таки сердится на меня Нафтали. – Как же он мог? Ты мне скажи, как он мог? Документы ему мои ни к чему, а деньги я бы и так ему дал, если бы попросил. Как можно брать чужое?

– Наф, – говорю я. – Ты спи сейчас, а утром разберемся. Ночью нельзя горевать, потому что темно, холодно и дождь, а утром будет солнце – и мы разберемся обязательно, а люди разные бывают.

– И воры такие? – тихо спрашивает этот чертов ангел. Тут я не выдержал, да как заорю:

– И воры, и бандиты, и шлюхи, и насильники, и такие придурки, как ты! Перестань реветь! И спи! Завтра разберемся.

Нафтали, похоже, моего крика испугался. Залез в мешок и затих. Утром мне в увольнительную. Я уже размечтался, как мы с моей девушкой... Нет, зря размечтался. Уже ночью понял, что с любовным делом придется подождать.

Было нетрудно вычислить, у какой базы Нафтали высадил того воришку. Подкатил на перекресток тремпом, потом пешком протопал километра три. База как база.

Лейтенанта по кадрам нашел в офисе. Эта публика всегда важничает, и тот офицер сначала сделал вид, что занят, но на самом деле не знал этот толстяк лысый, куда время девать. Он мне чем-то понравился. Так понравился, что все лейтенанту и рассказал про нашего ненормального Нафтали. Хорошо вышло, потому что кадровик о нашем силаче слышал всякие добрые слова. Потом я ему описал эту самую «грушу». Лейтенант долго не слушал.

– Есть такой, – сразу сказал этот командир над кадрами. – Он мог. Вызвать полицию? Сделаем обыск.

– Не надо, – сказал я. – Сами разберемся. Где его найти?

Груша на складе тюки таскал с новым барахлом для новобранцев. Лейтенант сразу ушел, так что мы вдвоем остались в ангаре. Я подонку этому сначала помог сгрузить тюки на тележку. Груша все принял, как должное, даже как-то сразу от дела отстранился и покрикивать на меня стал. Хорош гусь, а?

– Перекур, – сказал я, сел на тюки и достал сигарету. Этого негодяя тоже пришлось угостить. Потом я сказал:

---

<sup>2</sup> Поездка на попутной машине или автостопом.

– Знаешь, парень, есть люди, которых нельзя обижать, – большой это грех. Это как малого ребенка кровно обидеть. Ты меня понимаешь?

Тут он насторожился.

– Ты кто? – спрашивает.

– Сержант Кранц, – говорю. – Друг Нафтали – человека, у которого ты кошелек спер.

Он встал так резко, что руку обжег окурком, кистью стал трясти и дуть на пальцы. А потом просто и молча двинулся к выходу со склада.

Ты видишь – роста во мне немного, но всегда этим мучился и наращивал мышечную массу. Меня в родном городе Ташкенте сызмала обижали за этот самый рост и не ту национальность. Потом обижать перестали. Так что такую «грушу» отрясти – дел на минуту.

Ворюга этот стал орать, будто я его не только «отряс», но и сожрать вознамерился. Тут сразу лейтенант-кадровик появился. Глянул он на нас безучастно – и вышел, плотно прикрыв за собой тяжелые ворота.

Тогда негодяю этому говорю:

– Слышь, друг, я тебя сейчас долго буду мучить, делать больно. Я это люблю с детства. Причем умею делать это без всяких следов.

Груша попробовал вырваться, даже ткнул мне в нос вялым кулачком, но почти сразу понял, что дергаться бесполезно, – и затих.

Я, сидя на нем сверху, так сказал:

– Хотел же миром, без полиции и обыска. Сошлись – разойдемся – и все дела. Что ж ты такой несмышленный оказался?

Тогда этот сукин сын говорит:

– Деньги я потратил... И слезь с меня.

Я слез. Потом мы отправились в его берлогу. Груша кошелек не сразу нашел. Копался долго под койкой, что-то передвигал, кряхтел, потом еще вздохнул, там ползая и себя жалея:

– Вот дурак, что сразу не выбросил. Кожа хорошая, надо было выбросить.

Он вылез с кошельком. Тут я не выдержал и оставил-таки след на его физиономии. Потом сказал: если услышу о каком воровстве при тремпе, сразу к нему приду – разбираться. Что дальше? Да ничего особенного. Вернулся я на нашу базу в обед. Нафтали в комнате не было. Я и засунул его кошелек за тумбочку, только предварительно положил туда свои пятьдесят шекелей. И сам отправился обедать.

Нафтали удивился.

– Я думал, – говорит, – что ты уже дома.

– Вернулся, – говорю. – Слушай, а ты не мог в затмении кошелек свой из машины забрать и куда-то его... Ну, понимаешь?

– Нет, не мог, – твердо отвечает Нафтали.

– И все-таки, – настаиваю. – В комнате нашей надо пошуровать на всякий случай.

Долго пришлось Нафтали уговаривать, еле он согласился. Кошелек свой за тумбочкой нашел сразу и вопить стал, будто миллион в лото выиграл.

– Да как же я мог, как же я забыл?! – причитает. – Нет, быть того не может!

Стал он в кошельке копать и вдруг насторожился.

– Слушай, – говорит. – Деньги здесь, но одной бумажкой, а у меня была пара двадцаток и десять шекелей – монетой. Я точно помню... Ничего не понимаю.

– Плохо у тебя стало с памятью, Нафтали, – говорю. – К врачу надо. Ты же помнил, к примеру, что кошелек у тебя в машине лежал, а он здесь оказался.

Сидит Нафтали, сгорбившись, «закрыв» себя могучими плечами, кошелек раскрытый на коленях, головой покачивает, как старик на молитве. И в голосе снова слеза.

– Как же я мог, – говорит. – На такого хорошего человека подумал, что он – вор. А он еще хотел меня с сестрой своей познакомить. Надо его найти и извиниться, обязательно это сделаю.

Вот это, думаю, фишки!

– За что, – спрашиваю, – извиняться? Этот парень ни сном ни духом, что ты о нем так плохо подумал. Он себе живет-служит тихо, спокойно, а ты его только расстроишь своей ошибкой и подозрением.

– Верно, – сразу же соглашается со мной этот ненормальный и тут, распрямившись, поворачивает ко мне сияющее свое личико: – А ты говорил, что все люди – бандиты, насильники, шлюхи и воры. Получается, что не все. А я совсем не придурок, как ты сказал. Бери свои слова обратно!

Хотел я этого ненормального опять послать подальше, но потом передумал. Если человека в теплице вырастили, нельзя его сразу в открытый грунт пересаживать. Опасно это – завянет такой росточек, хоть и роста в нем под два метра и кулачища дай Бог каждому.

*1997 г.*

## Некоторые обстоятельства

Гражданка Израиля Элла Нурик весной 2003 года получила странное письмо из Белгорода: «Не будучи знаком с Вами, уважаемая Элла Исаковна, все-таки решился составить это сообщение, – писал отправитель. – Я – Сергей Иванович Потапов, 1933 года рождения, при некоторых обстоятельствах обнаружил запечатанный воском патрон на месте боев в нашей области. В патроне была найдена записка с данными погибшего красноармейца Исаака Абрамовича Флейшера. Я лично предпринял некоторые розыскные действия, в ходе которых выяснил, что Исаак Флейшер, год рождения 1912, место рождения г. Херсон, является Вашим отцом. В том случае, если мои данные верны, готов при визите в Государство Израиль встретиться с Вами и передать лично Вам в руки эту священную реликвию. С самыми добрыми пожеланиями, Сергей Потапов».

Теперь я должен рассказать, что за человек Элла Нурик, чей адрес в городе Бат-Ям был выведен крупным почерком на конверте письма.

Элла осиротела в ходе войны: отец ее пропал без вести летом 1943 года, а мать погибла сразу после войны на работах по лесосплаву. Близкие родственники сгорели в огне Холокоста. Элла Флейшер попала в детский дом тринадцати лет от роду. Дом оказался обычным по тем послевоенным временам, а потому, во многом, и судьба Эллы сложилась далеко не лучшим образом. Озлобленная на весь мир девушка-красавица пошла по дурной дорожке и к 1958 году «отмотала» пятилетний срок на зоне за воровство.

Спасла Эллу любовь военного человека, еврея – Бориса Нурика. Характер женщины оказался восприимчивым к покою, заботе и ласке. Часть ночи, после того как Нурик сделал ей предложение, Элла Флейшер горько проплакала, а утром проснулась без ощущения привычной горечи, радуясь наступающему дню.

– У тебя, Эллочка, лицо стало совсем другим, – сказал ей тогда Борис.

Это и в самом деле было так. С новым лицом Элла пошла учиться, закончила техникум и проработала технологом на местном металлургическом заводе почти сорок лет. Дети у Флейшеров родились друг за другом – в 1960 и 62-м годах, девочка и мальчик. Все складывалось в дальнейшей жизни Эллы как обычно, без особых проблем и событий. Но в 1981 году после продолжительной болезни умер ее муж, не дожив и до шестидесяти лет.

Элла тяжело переживала смерть Бориса, но горе свое не выказывала при посторонних и детях. Трудная судьба научила ее сдержанности, даже суровой сдержанности, которую мало-знакомые люди принимали за черствость характера и даже жестокость, обычную для людей с тяжелым детством и криминальной юностью.

Так вот, Элла Нурик прочла послание из Белгорода будто это была квитанция на оплату за электричество. И сунула письмо в деревянную распорку, где лежали эти самые оплаченные квитанции, потом вышла на балкон своей квартиры и закурила. Элле понадобилась не одна, а три сигареты, чтобы прийти в себя.

Ей исполнилось семьдесят лет, но до сих пор она не могла простить своим родителям их смерть и то, что подростком попала в ад послевоенного детского дома. «Я ненавижу вас! – немо кричала она тогда в вонючую, грязную подушку. – Ненавижу!»

И вот теперь обида вновь возникла в сердце пожилой женщины, но продолжалось это недолго, и Элла вдруг решила, что полученное письмо – весточка от отца, который просит у нее прощения за то, что не смог сбереечь себя на фронтах страшной войны с нацизмом.

Выкурив третью сигарету, Элла Нурик вернулась в холл, села за письменный стол и, не раздумывая долго, сочинила ответ Сергею Потапову:

«Уважаемый г. Потапов! Спасибо за память о моем отце. Буду рада встретиться с вами в Израиле. Элла Нурик». И все. Она не стала расшаркиваться перед незнакомцем. Решив так:

если он человек добрый – не обидится, а если злой – то и комплименты в этом случае не помогут.

Теперь о том, как в руки Потапова попал патрон с запиской Исаака Флейшера. Его сын – Дмитрий Потапов – зарабатывал себе на жизнь «черной археологией». Раньше он служил шофером в райкоме партии, возил начальство, а с 1994 года занялся новым и весьма прибыльным делом.

Человек обстоятельный и серьезный – Дмитрий – начал с того, что приобрел необходимые знания и инструменты для успешного ведения дела. Он стал читать труды генералов и военных историков. И не просто читать, а внимательно прорабатывать найденный материал. Затем он составил подробные топографические карты и приобрел современный металлоискатель. Младший Потапов не рискнул работать в одиночку. Он прекрасно знал буйный характер местных «черных археологов», но постепенно, благодаря «научному» подходу и связям с «братвой», добился определенной независимости и перестал работать на «общий котел».

Специализацией Дмитрия Потапова стало оружие. В лесах и окрестных полях его было множество. Глинистая почва способствовала сохранности металла. Впрочем, он только чистил найденное оружие. Его реставрацией, переделкой и продажей занимались другие люди в специальной мастерской. Потапов даже не знал, где она, эта мастерская, находится. Каждую неделю он встречался с посредником, отдавал ему «улов» и получал вознаграждение, как правило, в валюте.

Попадалось Потапову, конечно, не только оружие, но и памятные знаки погибших солдат. Причем не одних солдат Красной армии, но и немцев. На знаках тоже можно было заработать, но этими реликвиями Дмитрий не занимался. Он сдавал их другим «черным археологам» и тем самым гарантировал свой покой при основном направлении бизнеса.

Иногда, из досужего любопытства, он вскрывал найденные солдатские памятки. Вот и патрон с запиской Исаака Флейшера вскрыл.

– Жидок попался, – сказал он отцу. – Исачок... Слушай, может, торгануть записочкой этой? Евреи – народ богатый – расплатятся.

– Все они, что ли, богатые? – насупившись, спросил Сергей Потапов.

– Все, даже бедные, – решительно ответил «черный археолог».

Надо сказать, что отец Дмитрия антисемитом не был. Он просто по складу своего характера не мог им быть. На эту тему Сергей Потапов часто спорил с сыном еще в советские времена. И вообще, отношения между ними никогда нельзя было назвать мирными и спокойными. Яблоко от яблони далеко упало – бывает и такое.

Не любил, если уж честно, старик сына. Он внуков любил безмерно, а потому и навещал часто семью Дмитрия. И вот во время такого визита и произошел у них разговор по поводу патрона с данными на красноармейца Флейшера.

– Подлость это! – сказал тогда Николай Потапов. – Человек погиб за родину, а ты его памятью торгануть хочешь. Подлость это и негодяйство.

– Ты, папаша, глубоко не прав, – сказал сынок. – И пролежал бы этот патрончик до окончания века. Я работал, я его отрыл. Я, может, радость этим его жиденятам доставлю. Почему даром?

– Глаза бы мои тебя не видели пожизненно, – сказал старик. – Отдай мне этот патрон.

– Еще чего!

– Тогда продай.

– Сто баксов.

Сергей Потапов бедным человеком не был. Всю жизнь он и его покойная супруга помнили о черном дне, жили по-спартански в своем доме на окраине города и имели солидное хозяйство на десяти сотках чернозема.

Сто долларов сын получил.

– И чего ты с этой писулькой делать намерен? – спросил он.

– Найду родных этого человека и отдам патрон, – сказал Николай Потапов. – Хоть твой грех, подлеца, немного замолю.

– Псих ты, папаша, – улыбнулся Дмитрий. – Честное слово, псих.

Завладев патроном, старик тут же отправил письмо по имеющемуся в записке адресу. Ответа он не получил и, подождав больше месяца, сам отправился в город Херсон.

Никого из Флейшеров он, естественно, не нашел, но совершенно случайно встретил в порту старика – рыбака и горького пьяницу. Старик этот Флейшер помнил. Потапов распил с ним бутылку и в конце распития узнал, что жена красноармейца эвакуировалась с дочерью на Север и там, по сведениям старика, погибла, а дочь Флейшера была отправлена в детский дом. Рыбак дал адрес знакомой – пожилой женщины из Батайска, которая, он точно знал, переписывалась некоторое время после войны с женой Флейшера.

В общем затянули поиски Сергея Потапова. Та женщина в Батайске умерла несколько лет назад, но дочь ее оказалась бережливым человеком и нашла старику необходимое письмо, но не от самой Фаины Флейшер, а от ее подруги. Подруга писала, что «моя дорогая и любимая Фанечка погибла утонутием, а ее дочь приютил наш местный домик для сирот».

Еще месяц шел старик по следу Эллы Флейшер. И наконец, в его руках оказался адрес в Израиле, по которому он и отправил приведенное выше письмо.

Денег, потраченных на розыски, Потапов-старший не жалел. В долгих разъездах он перестал чувствовать острое и тоскливое одиночество безделья, от которого даже внуки не спасали.

Возможность отправиться по делу в далекую заморскую страну он воспринял тоже с радостью. Точку в его деле следовало поставить именно в Израиле.

Элла Нурик встретила Потапова в аэропорту и сразу спросила, где он намерен остановиться. «В гостинице, конечно», – ответил старик.

Элла промолчала и, только устроив гостя в своей машине, сухо произнесла, что он может пожить у нее.

Потом они сидели за столом, в холле квартиры Эллы Нурик-Флейшер, и пожилая женщина читала и перечитывала строки, написанные рукой ее погибшего отца.

Она хотела вернуть старику патрон с запиской.

– Что вы? – удивился Потапов. – Это – ваше.

– Скажите, – строго спросила гостя Элла, – вы долго меня искали?

– Пришлось побегать, – улыбнулся старик.

– Зачем вам все это было нужно?

– Не знаю – Сергей Потапов пожал плечами. – Для равновесия, может, так... Сынок у меня... Ну, чтобы не было нарушения природы.

– Мои дети работают в США, – сказала Элла. – Они хорошие дети. Я человек не бедный и могла бы вернуть вам часть затраченных средств.

– Обидите кровно, – сказал Потапов.

Через две недели он улетел на родину, но спустя год вернулся в Израиль по приглашению Эллы Флейшер.

Для того чтобы зарегистрировать брак, старикам пришлось отправиться на Кипр. Элла ругала при этом израильские порядки, а Сергей Потапов был в глубине души рад еще одной возможности совершить не столь дальнее, но все-таки путешествие.

2002 г.

## Потомок Грубого Джона

Ностальгией не все эмигранты болеют. Но те, кому эта болячка досталась, сильно мучаются, страдают. Им часто советуют съездить на родину – увидеть все чистым глазом и успокоиться, наконец.

Но я вам расскажу сейчас о человеке, с которым все получилось совсем иначе, и по причине не совсем обычной.

Среди женщин тоже попадаются умные люди, сказал он. А среди евреев хорошие, раздраженно дополнил я.

Он не понял меня и не обиделся. Зуся, как мне кажется, вообще не умел обижаться... или не считал нужным.

Зуся маленький человек и некрасивый. Только руки у Зуси на загляденье. Длинные пальцы, аккуратные ногти, даже цвет кожи на руках был какой-то особенный – благородного бронзового оттенка. Он всегда говорил: «Эти пальчики мне достались от другого гражданина, и совершенно случайно».

– Зуся, – спрашивал я. – Признайся честно: делаешь маникюр.

– Конечно, – говорил Зуся, улыбаясь всей своей невзрачной физиономией. – Еще массаж дважды в день, джакузи от Кузи, а на шабат езжу в Монте-Карло – крутить рулетку.

Зуся хорошо зарабатывал на Алмазной бирже Тель-Авива. Он мог себе позволить рулетку, но не позволял. Он вообще никогда в жизни не играл в азартные игры. Зуся говорил так:

– Я – сумасшедший, – как утверждает моя неверная жена Сима. – Из всех удовольствий жизни я выбираю работу.

И он работал, вытворяя своими пальчиками настоящие чудеса. Зуся сидел за стеклом в большом и сверкающем как новогодняя елка магазине, и, вооружившись оптикой разных систем, доводил драгоценные камни до полного блеска.

Все посетители заведения могли любоваться работой Зуси. Раньше он шлифовал брильянты без свидетелей, но потом его повысили, доверив общение с клиентом. Хозяева не прогадали. Маленький человек и большой мастер мгновенно догадывался, что от него хотят, и исполнял просимое с исключительной учтивостью и точностью.

Клиентами Зуси, как вы догадываетесь, были в основном капризные и состоятельные дамы, отсюда и его несколько скептическое и даже насмешливое отношение к женскому полу.

– Зуся, – спрашивал я. – Почему ты жену – Симу подозреваешь в неверности?

– Для гармонии, – отвечал Зуся. – Пусть она думает, что я ее ревную, как Отелло. Пусть она гордится, что ее подозревают во всех смертных грехах.

С Симой я знаком. Заподозрить ее даже в самом маленьком, микроскопическом грехе очень трудно. Как это обычно бывает – маленький Зуся выбрал себе в пару настоящую гренадершу с усами, и эта огромная женщина родила Зусе пятерых сыновей. Все дети выросли и преуспели в этой жизни. Даже самый младший – Давид – стал недавно победителем городской олимпиады по химии.

Зуся к детям своим относился скептически. Он говорил так, перечисляя их достоинства:

– Один – физик, другой – химик, третий – лирик, остальные два – полные засранцы.

Он их так обижал, потому что старшие сыновья давно покинули Израиль и работали в Канаде по научной части в каком-то крупном исследовательском центре.

Зуся в Израиле давно – ровно четверть века. Старшие его сыновья родились еще в России, а остальные трое – здесь, на земле предков.

Я так подробно остановился на его семейном положении и социальном статусе, чтобы стало понятным все остальное в этом рассказе. Главное, та странность в судьбе человека, ради которой и стоит пачкать бумагу.

Познакомились мы с Зусей в аэропорту. Встречал знакомых, но самолет из Москвы запаздывал. Зуся неслышно опустился рядом на твердое железное кресло. Так неслышно, будто это муха села, а не человек.

Наши глаза встретились. Мой сосед, видимо, встречей этой остался доволен и спросил:

– Московский ждете? – улыбнулся он, как я уже отмечал, всей своей некрасивой личиной.

Бывает, люди улыбаются губами, глазами и даже морщинами, а Зуся улыбался именно всей физиономией. Казалось, что даже уши его оттопыренные смеются над вами.

– Жду, – сказал я. – Вы тоже?

– Нет, я улетаю, – ответил Зуся.

– Так вам не здесь находится нужно, а в зале отлета, – сказал я.

– А я люблю здесь, – продолжал улыбаться сосед. – Сумку сдал. Наверху тоска – одни магазины. А здесь весело: люди встречаются, целуются... Опять же фонтаны имеются и телевизор большой на стенке.

– Это верно, – сказал я. – Зал встреч лучше зала прощаний.

– Стишками балуетесь? – подозрительно покосился на меня Зуся и улыбаться перестал.

– Иногда, – сказал я. – Грешен. А вообще-то в газете работаю.

– Ну, ну, – задумчиво покачал ушастью головой Зуся, а потом пальчиками своими красивыми сделал так, как обычно делают пианисты перед началом игры, перед тем как опустить руки на клавиши. – Сами откуда будете?

Доложил – откуда, потом кратко пересказал анкету, но оборвал себя на полуслове, заметив, что сосед больше не расположен к разговору. Мы сидели рядом молча.

Потом Зуся сказал:

– Никогда не задумывались, почему птицы возвращаются к своим гнездам? Вот появился птенец весной где-нибудь на севере. Научится летать, жить своей жизнью. Зимой летит на юг, побудет в тепле и сытости несколько времени – и обратно за тысячи километров. Тяжко, мучительно, а птица возвращается к своему гнезду.

– Тоже стихи пописываете? – спросил я.

– Никогда не думал, – хмуро отозвался Зуся. – Ну, вы человек образованный, я вижу. Так что же наука говорит по этому поводу?

– Не знаю, – сказал я. – По-моему, это загадка неразрешимая. А потом, далеко не все птицы способны на перелет.

– В том-то и дело, – отозвался Зуся. – Даже птицы разными бывают, почему люди должны быть под лиловую копирку? Вот она, как заведенная, всякий год ворчит: «Куда ты, да куда?! И что ты там забыл? Деньги некуда девать? Лечиться тебе надо на курортах, а не...»

– Кто ворчит? – спросил я.

– Супруга моя неверная – Сима, – вздохнув, ответил Зуся. – Кто еще право имеет ворчать на нас – только жены.

– Насчет курорта ваша половина права, – сказал я. – Люди мы с вами не очень молодые, пора и о здоровье подумать.

– Так мне мои Ямцы лучше любой здравницы! – вновь засиял мой сосед, но вдруг вновь стал совершенно серьезен и перешел на шепот. – Я вам сейчас секрет открою научный. Он и для птицы годится, и для человека. Живая душа всю жизнь в детство просится, чтобы не стареть раньше срока. А где наше детство остается? Там, где родились и выросли. Где же еще? Вот я и летаю каждый год в свое детство. Как птица, например, селезень.

На селезня Зуся не был похож. Скорее, на воробья взъерошенного, а воробьи, как известно, домоседы. Мысль о возвращении в детство не показалась мне оригинальной, но была в ней, в связи с исходом нашим, некоторая острота и особый вкус, что ли.

– Хороший город Ямцы? – поинтересовался я.

– Спрашиваешь, – легко перешел на «ты» Зуся. – Скажу так: по молодости лет я сионист был ярый. Первые годы в Израиле свою прошлую жизнь и не вспоминал. Да какие годы – целых пятнадцать лет. А потом открыли границу – и понял я, что должен в детство свое ехать, иначе сдохну раньше положенного срока. А это обидно, правда?

Я не спорил, а Зуся продолжил свой рассказ с упоением:

– Вот говорят: ностальгия, ностальгия, вроде как болезнь без причины. Ерунда все это. Причина есть, и самая понятная... Сима меня спрашивает первый раз: «Куда, старый дурак, намылился?» Я ей тогда ответил, что еду омоложиться. Она как закричит: «Найди себе молодуху у Таханы – и омолаживайся. Дешевле обойдется». Очень невоспитанная женщина – моя неверная жена Сима. Кстати, тоже уроженка нашего города Ямец. Но ей, что наш родной город, что Нью-Йорк – все равно... Нет, этот чужой совсем Нью-Йорк она больше уважает. Ну разве может такая женщина понять душу человека мужского пола? Нет, не может. Я в тот первый год поехал зачем? Чтобы вернуться в свои пятнадцать лет, когда мальчишкой влюбился. В Москве, веришь, и день не задержался. Сел на электричку – и к нам. Стою в тамбуре, нюхая запахи, и сердце поет. Уже стал омолаживаться по дороге. Два часа стою в тамбуре. Народ толкается, шумит, курит, водяру лакает. Рожи вокруг – не дай Боже, а я омолаживаюсь... Ты слушай дальше... Когда мы в Израиль прилетели – совсем была другая страна. В автобусах курили, шелухи семечек по колено, урн мусорных на улице не было. А что теперь? За четверть века все другое – напрочь. Другая страна. Все другое... Это и хорошо и плохо. Вот родился человек, рос в какой-нибудь развалюхе, а теперь на этом месте дом высотный. Может он омоложиться, вернувшись в свое детство? Да никоим образом. Не сработает машина времени... А с Россией не так. Там, особенно в провинции, мало что меняется. Ну дерево подрастет, крыша прохудится, мосток отремонтируют, дорогу подлатают – вот и все... Веришь, за двадцать пять лет, каким наш вокзальчик был, таким и остался. Платформа с достройкой деревянной, домик с залом ожидания на две скамьи у стены, касса тут же, в простенке между печкой и окном. За окном старая береза. Так она и при мне в возрасте была.

От вокзала мы тогда и оправились в путешествие. У девчонки моей был велосипед, а у меня – только ноги. Зато моя тетка в вокзальной кассе билетами торговала, и стоял в ее закутке велосипед отличный, харьковского завода. Тетка на нем приезжала из поселка торфяников. Она там жила, еще с войны. Вот эта тетка – Лея – мне и давала покататься. Ровно на час, не больше. Очень она любила точность и порядок. Вот я свою девушку и уговорил совершить путешествие по родным просторам. Крутим мы педали от вокзала. Она впереди, я сзади. Очень, тебе скажу, отличное зрелище, когда твоя любимая девочка впереди тебя крутит педали. Вот мы едем мимо складов, потом сворачиваем в перелесок, а дальше поле ржи в цвету. Ты знаешь, что такое рожь в цвету? Ну, это не важно... Поехали дальше. Велосипеда нет, и тетки моей Леи давно нет на свете. А поле это сохранилось. И вот я, старый дурак, иду через рожь по пыльной дороге к лесу – и омолаживаюсь, вспоминая, как мы с девочкой моей крутили педали... Знаешь, что у нас с собой было? Половина черного хлеба, два соленых огурца и фляжка с молоком. Как тебе такой обед? Я ничего вкуснее никогда в жизни не ел. Мы тогда расположились в дубовой роще. Место просторное, светлое. Сидим в тени, на траве – и подкрепляемся. Потом я говорю моей любимой девочке: «Можно я тебя поцелую?» Она отвечает так просто: «Конечно, можно. Чего бы я с тобой поехала? Меня вот Фимка приглашал. Я с ним отказалась ехать. А с тобой – другое дело». Тут мы стали целоваться, как умели. Я завелся, полез дальше, но получил по рожке очень даже сильно. Кровь из разбитой губы закапала. Я расстроился. «Тебе, – говорю, – надо боксом заниматься. Убить же могла». А она говорит: «И

убью, если торопиться будешь. Всему свое время». – «И сколько ждать?» – спрашиваю. А она так серьезно отвечает: «Года три, думаю, не меньше»... И вот я сижу на травке в той самой дубовой роще. Все это вспоминаю. И кровь во мне бежит ускоренно, до полного разогрева внутренностей. Скорость крови, я тебе скажу, самое необходимое дело для омоложения.

– А вещи-то свои на вокзале оставил? – спросил я.

– Какие вещи? Рюкзак за спиной – и все. В нем и весу-то, так – ерунда... Только не то спрашиваешь. Ты спроси, почему я, немолодой еврей и сионист всем своим нутром, солдат Ливанской войны, раненный в плечо разрывной арабской пулей, отец и дед, чьи внуки даже не говорят по-русски, прилетел за тысячи километров, бросив все, чтобы посидеть под дубом на травке, в лесу, у родного города Ямцы?

– Так все ясно, – сказал я. – Для омоложения организма. У тебя небось и сад в этих Ямцах имеется, где молодильные яблоки растут.

– Откуда знаешь? – покосился на меня Зуся.

– Не знаю, а догадываясь, – сказал я.

А теперь хочу признаться, что рассказ моего соседа хитро скроил из нескольких бесед в одну для удобства. Мы с ним потом неоднократно встречались, так как жили неподалеку друг от друга в одном районе Холона. И я не помню, когда и где рассказал мне Зуся про эти «молодильные яблоки». Он сказал, что в тот старый, запущенный колхозный сад входил человек, как в зеленый и родной дом, и трава в этом доме была особенно густой и мягкой. Только яблоки на тех деревьях росли плохо. Мало их было, а если и попадались, то кислые до ломоты в скулах.

– В этом саду, – сказал Зуся. – Мы чаще всего встречались с любимой девушкой. И в тот сад прибегал к нам грубый Джон – дворняга такая, а еще в нашем городе жил обычный Джон, как две капли воды похожий на грубого, но мы с ним мало общались. А грубый вовсе не был грубым, а очень даже ласковым. Только лаял басовито. За этот лай его так и прозвали.

– Значит, потом ты отправился в старый, яблоневый сад, – сказал я тогда.

– Ну, точно, – улыбнулся Зуся всем своим некрасивым ликом. – Там яблоки были кислыми, а поцелуи – сладкими. Все там было по-старому. Я сел на перевернутое ржавое ведро и стал искать яблоки на деревьях, но их совсем не было – молодильных яблок. Я долго искал: ходил-бродил по саду. И наконец, нашел одно. Правда, высоко, чуть ли не на самой вершине. Залез я на дерево. Сбил яблочко палкой. Потом опять сел на ведро и дичок этот сжевал весь, без остатка, вместе с косточками. Проглотил – и думаю: вот сейчас должно случиться что-то особенное. И знаешь, случилось. Смотрю: собачонка трусит. Ну в точности грубый Джон. Подбежала ко мне, хвостом вертит. Я руку поднял и говорю: «Голос, Джони!» И эта псина, как залает басовито. Ну точно какой-нибудь внук-правнук той нашей любимой собаки.

– Хватит, – сказал я тогда. – Ну что у тебя в рассказе одни леса, сады, яблочки да собаки. А люди где? Люди твоего детства? Где друзья-приятели и любимая девушка из города Ямец.

– Как где? При мне, – удивился Зуся. – Куда она денется. Как раз перед армией, ровно через три года, отдала она мне то, что обещала. Дождалась, вышла за меня замуж. Вот живем уже тридцать четыре года, мучаемся.

– Так вот! – заорал я тогда. (А дело, как помню, происходило на дому у Зуси, в беседке, увитой виноградом.) – Вот твой настоящий секрет омоложения: жена твоя неверная Сима.

– И чего ты расшумелся, – сказал Зуся, нахмурившись. – Ты теперь попробуй посадить ее на велосипед. Она в машину помещается, да так кряхтит, будто ее на верблюда затаскивают. Нет, я лучше буду к той Симе каждый год ездить, чтобы омолодиться.

Тут к нам на веранду вышла, ковыляя, старая псина Зуси.

– Слушай, скажи честно? – спросил я. – А это кто?

– Потомок грубого Джона, – ответил Зуся.

В этом году, в августе, он вновь отправится в свой Ямец. Он сказал, что на этот раз хочет пожить в доме, где родился сразу после войны. Дом этот цел и невредим. Только на первом

этаже здания «новые русские» открыли магазин по продаже удобрений. Но Зуся сказал, что его это не волнует, потому что родился он на втором этаже, как раз в комнате с широким окошком, за давно обвалившимся балконом.

– Совсем уж омолодишься, – пошутил я тогда. – Соску с собой захвати.

– Грубый ты человек, – улыбнулся Зуся. – Ну совсем как наша собака – Джон.

*1999 г.*

## Колодец

Они не понимают, как здесь хорошо, думал Зеев, и все-таки они заботливы. Два одеяла из верблюжьей шерсти и кувшин с водой – вот и все, что мне нужно.

Одеяла утром он сразу отправлял наверх. Они мешали работе. Час начала трудов своих Зеев угадывал безошибочно. Он просыпался, открывал глаза и несколько минут наблюдал, как огромные звезды над его головой меркли, растворялись в свете неба. В тот момент, когда исчезала самая большая звезда, он складывал одеяла, садился на них и съедал ломоть хлеба с куском пресной брынзы. Глоток воды – и Зеев был готов к работе.

– Поднимай! – кричал он невидимому помощнику там, наверху. Иногда ему приходилось кричать несколько раз, прежде чем корзина с одеялами начинала медленно уходить в посветлевшее небо над головой.

Ворот скрипел нещадно. Раньше он не мог привыкнуть к этому скрипу, нервничал каждый раз и кричал вслед корзине, чтобы ворот наконец смазали. Но со временем Зеев вспомнил, как скрипел ворот колодца в местечке, где он родился, и скрип перестал терзать обнаженные нервы, а может, и сами нервы закалились и перестали реагировать на внешние раздражители любого толка.

Он, например, перестал читать записки жены, полные ворчливого раздражения и странных желаний. Фрида писала по-русски с чудовищными ошибками, и это казалось Зееву не меньшим проступком, чем само содержание писем.

Записки приносил ему напарник. Помощники регулярно менялись. Редко кто выдерживал два дня подряд этой проклятой, как они говорили, работы на дне колодца.

В письмах жены было, по обыкновению, категорическое требование подняться на поверхность. Она заклинала его детьми, сообщала о бедственном положении семейства и грозила уходом.

Поначалу люди наверху писали о том же, сообщая, что воды в колодце нет и не будет, что все сроки работ вышли, а наверху уже недостает хлеба, и бедуины отказываются привозить воду. Потом такие требования становились все реже. Наверх уходили корзины, полные земли и камней, и его молчаливое упрямство заразило колонию.

– Держись, – написал ему однажды один из стариков. – Мы ходим с ума вместе с тобой.

Пинхас спустился по веревочной лестнице. Корзина не выдерживала тяжести человека. Следовало заменить веревки цепью. Но достать пятидесятиметровую цепь они не могли. Пинхас принес еду и новый черенок для мотыги.

На родине, в Харькове, Пинхас работал конторщиком на сахарном заводе Бродского, но руки у него были сильные, и Зеев почему-то был уверен, что в тот день, когда рядом с ним будет Пинхас, они придут к воде или вода придет к ним. Как случилось в тот последний день зимы и последнего дождя, когда Зеев проснулся от радости и восторга, потому что вода лилась на него сверху и вода была под ним. Проснувшись, он не сразу понял, что происходит, и решил, что святая влага пробилась к нему со всех сторон. Он ловил ртом воду, он размазывал капли по грязному, худому телу. Он завопил так, что песок посыпался сверху, скрипнул ворот подъемника, и проснулись люди в развалине арабской хижины.

Потом он не увидел над головой звезды, и понял, что это был всего лишь случайный дождь, последний дождь зимы. Зеев лежал на мокрой земле и ждал, когда над его головой возникнет привычный ночной пейзаж.

Дождь ушел, вскоре появились звезды, и он заснул, все еще улыбаясь своей случайной радости и обману чувств. Тогда он копал на отметке двадцать пять метров, поселенцы наверху верили, что вода скоро придет из глубин земли, а не только с неба.

Пинхас сказал:

- Здесь холодно сегодня, как в могиле.
- Всегда так, – сказал Зеев.
- Нет, сегодня что-то уж слишком, – сказал Пинхас.
- Давай работать, – сказал Зеев. – И будет тепло.

И они стали работать. Пласт попался жесткий. Пинхас разбивал землю мотыгой, а Зеев загребал ее широкой лопатой, насыпая корзину доверху. Потом он дергал веревку, и земля уходила наверх. Он знал, что вокруг колодца растет холм. Он знал, что наверху люди тоже не сидят без дела.

– Ты помнишь, скоро шабат. Ты поднимешься? – спросил Пинхас и опустил мотыгу, чтобы перевести дыхание.

- Нет, – сказал Зеев, ожидая корзину. – У меня есть еще свечи, и молитвы я еще не забыл.
- Тебя ждут, – сказал Пинхас.
- Подождут, – сказал Зеев. – Осталось еще немного.
- Я бы не смог спать здесь ночью, – сказал Пинхас.

– Я тоже не сразу привык, – сказал Зеев. – Мне все казалось, что свод обрушится на меня, спящего.

– Там, наверху, многие думают, что ты спятил, – сказал Пинхас.

– Наверно, – согласился Зеев. – Я понимаю, что так нельзя... Только... если я вылезу, они перестанут копать и уйдут. Уйдут совсем, а многие уедут обратно.

– Нас нигде не ждут, – сказал Пинхас. – Ты знаешь, это и есть одиночество, когда тебя нигде не ждут.

– Наверно, – сказал Зеев. – Давай работать.

У них был бур. Странную машину подвезли к колодцу люди барона. Бур работал исправно два дня. Два дня пряморогий вол ходил по кругу, вращая ворот. Потом бур сломался. Его попробовали отремонтировать, но поломка оказалась существенной. Зеев спустился в колодец, когда кто-то сказал, что надо подождать новой машины.

– Будем копать, – сказал Зеев. – Вода близко.

В первый день он натер руки до крови. Было больно не только вгрызаться в мертвую землю, но просто держать древко лопаты. В первую ночь он не мог заснуть от боли. Зеев не знал профессии землекопа. В молодости у него был хороший голос, и он пел в синагоге. Он был кантором и пел на свадьбах и похоронах. А потом был погром. На глазах Зеева изнасиловали его невесту. Его держали крепко, но он кричал так, что потерял голос. Фрида молчала, и он, охрипнув, замолчал тоже, поняв, что любовь его уходит и на место любви приходит жалость. Он женился на Фриде из жалости. Их первый ребенок появился на свет с голубыми глазами, и волосы его были светлыми, как лен...

Утром он обмотал руки тряпками и продолжал работать. На тряпках выступала кровь, но он работал. И боль физическая постепенно излечила боль души. Он тогда был уверен, что вода появится совсем скоро, что в каждой земле есть вода, и в этом колодце она должна быть непременно, потому что они купили этот клочок суши в складчину, на последние гроши, нигде больше у них не было своей земли, и, потеряв эту, они снова могли стать обычными бродягами, чужими на планете, где у каждого есть свой надел. Только у евреев вот уже две тысячи лет не было своей земли. И вот они вернулись и купили эти дунамы, чтобы начать новую нормальную жизнь. Для этой нормальной жизни требовалось только одно – вода, но воды пока что не было, а была дыра в земле, и человек, решивший, что он лучше умрет, но не выйдет на поверхность, пока не ошутит живительную влагу под ногами и на своих губах.

– Арабы не пьют вино и не сажают виноградники. Они вообще не хотят вмешиваться в жизнь земли, – сказал Пинхас. – Может быть, и нам попробовать жить так... Вместе с ними.

– Мы – это мы, – сказал Зеев. – А они – это они.

– Земля диктует свои законы, – сказал Пинхас. – Они живут по законам этой земли, по законам пустыни.

– Нет, – сказал Зеев. – Они живут, как рабы земли. Нам это не подходит. Мы свободные люди. Давай работать.

Они снова стали грузить корзину землей, но на этот раз делали это долго, потому что Пинхасу попался большой валун. Камень испугал их своей огромностью. Твердь приходилось крошить ломом, чтобы поднять на поверхность. Но обошлось. Они вывернули валун из земли, подняли его вдвоем и погрузили в корзину. Зеев резко дернул веревку. Груз поплыл наверх, но вдруг что-то случилось, корзину перекосило, и камень рухнул на дно сухого колодца. Он чудом не убил их и упал гулко, будто толстяк, подпрыгнув до потолка, рухнул на перину.

– Земля стала мягкая, – сказал Зеев, когда они вновь отправили камень наверх. – Ты слышал, какой мягкой стала земля.

– Это вокруг камня, – сказал Пинхас. – Вокруг камня всегда так, а потом опять начнется... Вот увидишь.

– Увижу, – сказал Зеев, оставил лопату и тоже взялся за мотыгу. На размахе им трудно было работать вдвоем, да и корзина на этот раз вернулась быстро.

– Подожди, – сказал Зеев, оставив мотыгу. – Сердце бьется... Что-то не так со мной. Я полежу.

– Ты сдохнешь тут, – сказал Пинхас. – Тебя и закапывать не придется. Набросаем сверху землицы – и все... На этот шабат ты поднимешься, а вместо тебя останусь я.

Зеев промолчал. Он прислушивался к себе и гнал боль сердца всеми силами, потому что хотел жить на своей земле и со своим народом. Он прогнал боль одним нежеланием смерти.

– Мне все равно теперь не подняться, – сказал Зеев. – Слишком много ступенек.

– Мы поднимем тебя в этой люльке, – сказал Пинхас, бросая лопатой землю в корзину. – Ты уже ничего не вешишь. Одни кости торчат.

– Здесь темно, – поднимаясь, сказал Зеев. – Ты мои кости не можешь видеть.

– Ну конечно, – сказал Пинхас. – Тебя видит только Бог. Все слепы. Только Он зряч.

– Не шути с этим, – сказал Зеев. – Я не знаю, кто меня видит, но Он помогает мне работать. Это точно.

– Перестань, – сказал Пинхас. – Тебе помогают Эли и Феликс, а еще твоя жена. Она печет лепешки из последней муки. Осталось чуть больше половины мешка. Мука кончится – и тебе не поможет никто, даже Бог.

– Когда она кончится? – спросил Зеев. – Мука эта?

– Дня через два, – ответил Пинхас.

Корзина, полная мягкой земли, ушла наверх. Зеев поднял глаза, провожая ее взглядом, и увидел солнце. Странно, он видел солнце, но горячие лучи не попадали на дно колодца. Он видел пылающий диск из вечной тени.

«Когда будет вода, – подумал Зеев, – солнце не сможет выпить ее. Это очень хорошо, что колодец получился таким глубоким».

И он сказал об этом Пинхасу. Пинхас только усмехнулся. Он сказал, что дыра в земле – это еще не колодец. А потом предположил, что они прокопают всю землю насквозь и выйдут наружу где-нибудь на Американском континенте. Только бы не прозевать момент, когда копать они начнут над головой, а не под ногами. Пинхасу очень понравилась идея туннеля, и он стал смеяться. Он смеялся так заразительно, что и Зеев невольно улыбнулся, наверно впервые за недели его жизни и работы под землей.

Они пообедали отваренными в соленой воде початками кукурузы, разделили на двоих круглую лепешку. Воду им спустили в глиняном кувшине с узким горлом.

– Как твое сердце? – спросил Пинхас.

– Стучит, – ответил Зеев. Есть ему не хотелось. Он ел, потому что знал: голодным он не сможет работать дотемна, до первой звезды шабата.

– Мы поставим здесь паровой насос, – сказал Пинхас. – Он будет качать воду на наши поля. Я видел такой насос во Франции.

– Ты хорошо говоришь, правильно, – сказал Зеев. – А еще мы устроим ванну для детей, большую и прямо в земле. Пусть купаются, сколько захотят. Пусть хоть целый день не вылезают из воды.

– Мой паршивец так и сделает, – сказал Пинхас. – Он даже спасибо отцу не скажет. Он просто залезет в эту ванну и будет там плескаться – вот и все.

– Арабы признают только молоко от скотины и мясо, – сказал Зеев. – Но скотину кормит земля. Земля кормит всех. Это понимать надо. Если не дать земле воду, она погибает. Пустыня – это смерть всему. Наша земля не будет пустыней. Ты слышишь меня?

Пинхас не слышал. Он спал. Он имел право на двадцать минут сна.

Зеев не стал будить друга. Он подумал, что совсем скоро наступит XX век, что хорошая цифра – 20: круглая и веселая, и технический прогресс сделает жизнь людей свободной от тяжелого, рабского труда. Он думал о судьбе своего народа. Зеев был убежден, что совсем скоро вся земля Палестины станет еврейской. Гонимые найдут пристанище и начнут жить счастливо, сытно и без страха перед чужой ненавистью... Так будет. Только нужно вырыть этот колодец до водоносного слоя. Вырыть обязательно. А это зависит от одного человека. Этим человеком оказался он, а мог на его месте быть Пинхас, Эли или Давид. Но так получилось, что жребий выпал на его имя.

Пинхас проснулся ровно через двадцать минут. Они работали молча до сигнала сверху.

– Я остаюсь, – сказал Пинхас на идише. – Лезь наверх.

– Нет, – сказал Зеев. – Осталось совсем немного. Я не прощу себе этого, если уйду.

– Сколько еще? – сказал Пинхас. – День, неделю, месяц, год?

– Не знаю, – ответил Зеев, опершись на черенок лопаты. – Это знает только Он.

– Ты – сумасшедший, – сказал Пинхас. – Но это не так опасно. Ты заставляешь и нас быть безумцами. На этой земле будут жить сумасшедшие евреи.

– Уходи, – сказал Зеев. – Скоро шабат. Я буду отдыхать целый день. Знаешь, как здесь хорошо. Наверху небось жара, дышать нечем, а здесь хорошо. Здесь мир субботней прохлады.

На это Пинхас ничего не сказал и полез наверх, кряхтя и отдуваясь... Лестница дергалась по-змеиному еще долго. Зеев держал руку на нижней ступеньке, словно провожая друга, потом лестница замерла.

Ночью Зееву приснилось, что большая собака облизывает холодным языком его пятку. В полусне он подумал, что подземные малые звери шуршат в углу, стараясь пробраться к корзине с едой. Потом он подумал, что снова пошел дождь. Дождь?! Летом?! Потом он проснулся окончательно, дрожащими руками зажег свечу. В колодец толчками пробивалась вода. Ее было немного, совсем немного, но становилось все больше. Вода на глазах набиралась сил, размывала, рушила, отталкивала землю. Зеев прижался лицом к луже на дне колодца. Потом он пил эту воду, жадно глотая ее вместе с песком. Потом он сел на дно колодца, обхватив колени руками. Так было неудобно пить, но он запел, легко выговаривая слова субботней молитвы:

– «Да сжалится милосердный Отец над народом, о котором заботится, и вспомнит Союз свой с праотцами, и спасет наши души в недобрые времена, и изгонит злое начало из сердец тех, кого опекает, и отмерит нам то, о чем просим мы, щедрой мерою, даруя спасенье и милость».

Поговорив с Богом, он вспомнил о людях. Он закричал так, с такой бешеной силой, будто и не было за спиной Зеева недель каторжного труда. Он выдыхал из себя с нечеловеческой силой одно-единственное слово:

– ВОДА!!!

Конечно, все было не так. И самого упрямого поселенца не так звали, и судьба его была другой, и думал он о другом, но по сей день существует тот колодец, как памятник первым хозяевам земли Израиля. И еще сохранились воспоминания тех, кто впервые испил воду из той шестидесятиметровой дыры к центру земли:

«Все от мала до велика устремились к колодцу... В воздухе стоял гул от оглушительных выстрелов, безумных криков “Ура!”, “Вода!”. Прыгали, танцевали, благодарили Бога, обнимались, рыдали, как маленькие дети... Удалось извлечь немного мокрого песку. Боже мой! Что делалось наверху с этой грязью: рвали друг у друга из рук и жадно, с неизъяснимым блаженством, глотали...»

2002 г.

## Вместе

Юг Израиля. Небольшой провинциальный город. Русское кладбище. Пятьдесят могил. Пустые заасфальтированные ячейки для новых захоронений. Ни одного креста над могилами или звезды. Встречаются надгробия с надписями только на иврите, но на большинстве лишь кириллица.

На самой древней могиле дата: 1990 год. На самой свежей, засыпанной еще не увядшими цветами, табличка из жести: «Смирнов Геннадий Афанасьевич. 1957–2002».

Смирнова Геннадия вышиб пинком из кабины фургона знакомый, угнавший в шутку эту машину вместе с ним. Смирнов погиб под колесами автобуса, следовавшего по встречной полосе.

Оба – и сам погибший, и его приятель – выпили в тот день по случаю субботы. Впрочем, навеселе они были чуть ли не каждый день недели.

Жена Смирнова Анастасия выплакала все слезы за три года до смерти мужа, на могиле сына Василия, зарезанного в пьяной драке еще в России, у шалмана «Ракушка», на центральной площади райцентра К.

– Пусть правосудие покарает убийцу, – тихо сказала Анастасия, стоя над могилой мужа.

На самом деле она не хотела суда, ей не нужно было правосудие. Она страшилась властей, расследования, допросов... Больше всего несчастная женщина боялась возвращения домой, в город К.

У Анастасии Смирновой двое детей – мальчик десяти лет и дочь. Девушка заканчивала школу и готовилась к службе в армии. Анастасия знала, что в родном городе ее дети погибнут, как погибли старший сын и муж, уже здесь, в Израиле.

Ей хотелось, чтобы похороны мужа закончились как можно быстрее. Вдову пугали люди на кладбище. Анастасия давно оплакала и своего беспутного, шального мужа, и свою несчастную бабью судьбу.

Какой-то человек в кипе говорил на иврите непонятные слова над могилой ее покойного мужа. Она не знала, зачем нужно это подобие ритуала, но тихий голос кладбищенского служителя успокаивал Анастасию. Значит, ее все еще признавали за свою.

В городе К. пили почти все мужики: одни запоем, другие каждый день, третьи эпизодически. Как раз в этом городе, на местном заводе арматуры, директор стал выплачивать премиальные тем, кто приходил на работу в трезвом виде.

Директора показали по центральному телевидению, будто в шутку. Но многие из руководителей производств шутку приняли всерьез и стали у себя на предприятиях вводить передовой опыт из города К.

Сын Анастасии Смирновой работал на том самом заводе арматуры и никогда премиальных за трезвость не получал. Пил он, как правило, вместе с отцом, рабочим на железной дороге, а потом отправлялся куролесить в компании таких же молодых парней, как он сам.

Осталось не выясненным до конца, при каких обстоятельствах Василий Смирнов получил смертельное ножевое ранение. Собственно, все эти обстоятельства были похожи одно на другое, и мало кто из буйной компании обычно помнил, почему начиналась драка.

Одно было ясно всем: зарезал Смирнова его бывший одноклассник и друг Зорий Псарев – сын начальника местной милиции.

Поздно вечером, в день гибели Василия Смирнова, семью погибшего посетил сам Псарев Иван Николаевич. Его приняли как полагается: отец убитого поставил на стол бутылку «Московской», а хозяйка позаботилась о нехитрой закуске. Выпили по стакану.

– Светлая память Васе, – сказал Псарев. – Хороший был хлопец. Не воротишь теперь. Так что же другую судьбу калечить, сажать сына моего единственного на парашу? Много дать не могу: десять тысяч долларов деньгами и еврейский документ.

– Чего? – не понял Геннадий.

– Выправлю бумаги, – поднялся во весь свой могучий рост Псарев. – И валите отседа за кордон, в ихний Израиль.

Два слова чаще всего произносились в городе К. И оба из трех букв.

– Куда, в жидовию? – только и смог выдохнуть ошарашенный Геннадий Смирнов.

– Туда, – кивнул начальник милиции, ополовинив второй стакан и закусив коркой черного хлеба.

Сердце Анастасии Смирновой сладко заныло. Ей было все равно, куда бежать из этого города и страны, где она родилась. Все рушилось на глазах и гнило. Не было у нее больше сил сопротивляться сивушному духу. Младший сын подрастал, и женщина знала, что и этого мальчика рано или поздно увидит она пьяным, жестоким и наглым.

– Там пьют? – тихо спросила у начальника милиции Анастасия.

– Так наш Абрашка Сыркин рази пьет? – напомнил Псарев. – Тольки по праздникам.

– Пятнадцать тыщ, – выпалил Геннадий. – И по рукам!

– Ты свой паспорт дай и метрику, – повернулся к Анастасии всем своим могучим телом Псарев.

В архиве местного отдела милиции хранились старые бланки метрик. Псарев лично выправил один документ, из которого можно было заключить, что бабушку Анастасии Смирновой звали Саррой Натановной Коган.

Шел 1999 год. Сохнут в областном городе, в свою очередь, быстро соорудил все недостающие бумаги, необходимые для переезда в еврейское государство.

В последние годы у Сохнута было совсем мало работы, и эта организация открывала объятия любому, желающему перебраться в Израиль.

Враги Псарева пробовали, несмотря ни на что, инспирировать процесс над его сыном. Особенно старался редактор местной газетки «Ленинское знамя» некий Благосветов, но в одну дождливую ночь во дворе Благосветова загорелся сарай, в котором стояла кормилица его большой семьи корова Диана. Сарай сгорел дотла. Диану не смогли вытащить из огня. На следующий день сын Благосветова был сбит мотоциклистом, когда мальчик шел домой из школы. Малыш отделался сильными ушибами, но редактор газеты понял, что поединок с начальником милиции ему не выиграть малой ценой. А к большой редактор не был готов.

Смирновы оказались в Израиле летом 2000 года. Первое время отец семейства пил робко. Он даже посещал вместе с Анастасией ульпан. Затем робость прошла. Геннадий был приятно удивлен стоимостью и обилием спиртных напитков, и муки несчастной Анастасии вернулись к ней в прежнем объеме.

Спасалась она тем, что сын и дочь, неплохо освоив иврит, учились, и у нее на глазах из бледных, запуганных, тихих зверьков превращались в обычных человеческих детей.

Геннадий работал на хозяина столярной мастерской и пил. Много работал и много пил. Хозяин платил ему минимум, но терпел в своей мастерской русского алкаша, потому что в трезвости за час Смирнов успевал сделать больше, чем его сосед за полдня.

В Израиле Геннадий меньше измывался над женой и детьми, чем в городе К., просто потому, что реже их видел. Климат позволял гулять на природе. Смирнов любил море, а потому приходил домой только к ночи, чтобы завалиться в койку и, если силы позволяли, потребовать от жены Анастасии плотских утех.

Анастасия тоже определилась на работу – уборка. Жилье Смирновы нашли в бедном районе, где жили почти сплошь выходцы из России. На каждом магазине в местном торговом

центре висела афиша на русском языке, ниже русских букв название писалось на иврите. Таков был порядок, установленный мэрией.

Слепые стены и столбы в этом районе лохматились объявлениями на одном русском языке. Здесь администрация городка была бессильна.

Тяжело жилось Анастасии, а все-таки гораздо легче, чем в родном городе. Быт отнимал не так много времени. Ей удалось спасти часть денег, полученных от начальника милиции, и понемногу, как ей казалось, жизнь входила в нормальную колею.

Только об одном не могла забыть Анастасия Смирнова: о том, что находится в Израиле по подложным документам и бабушку ее покойную звали Екатериной Богдановной Пилипко, а не Саррой Натановной Коган.

Сама Анастасия Смирнова вела себя тихо, но муж ее, Геннадий, особенно в подпитии, терял над собой контроль и начинал поносить Израиль всеми бранными словами. У него теперь был замечательный предлог, чтобы оправдать свое пьянство.

– Замуровали, гады! – шумел Геннадий, устроившись на поливной травке, под пальмой, неподалеку от пляжа, вместе с приятелями. – Родины лишили, жида проклятые. Разве тут жизнь?! Одно жулье. Арабы их гноят почем зря, а не заноситесь! Будь все они прокляты! Эх, на родину бы, ребята! Ну, наливай! Будем здоровы! Живите порхато!

Ребята наливали, соглашаясь в глубине души со всем, что говорил Геннадий Смирнов. Безобразий вокруг было множество, и чужие испытывали подлинное удовольствие, списывая эти безобразия на специфические особенности еврейского народа, как они особенности эти, родовые черты, понимали.

Анастасия не любила ругани в адрес Израиля и всячески пробовала урезонить мужа.

– Ген, – говорила она. – Ты бы потише, а то вышлют. Проверят документы, так и вышлют обратно.

– Ага! – гоготал муж. – Спугалась? Продала родину да великий народ свой, а теперь дрожмя дрожись. У, жидовка! – и Геннадий замахивался на Анастасию, но никогда не бил ее, как случалось в городе К. Видимо, стал чувствовать между собой и женой некую дистанцию, в чем и сам однажды признался.

В тот день водку друзья разбавили какой-то дрянью. Дрянь прибавила особого куражу к обычной агрессии. Решили угнать фургон знакомого парня. Точнее, это знакомый Смирнова решил, а Геннадий только присоединился к нему, потому что очень уж хотелось прокатиться на халяву. В дороге повздорили. Приятель уже не помнил, по какому поводу. Слово за слово – вот он и вышиб Смирнова из машины под колеса встречного автобуса...

Все, народ стал расходиться. Кладбище быстро пустело. Только теперь Анастасия заметила, что сын ее младший привел на похороны отца своего приятеля по имени Эли. Приятель родился в Израиле, русского языка не знал. Дочь, будущий солдат ЦАХАЛа, поддерживала мать под руку, хотя в этом не было необходимости. Они шли позади мальчиков. Сын Анастасии и Эли говорили на иврите.

Кое-что Анастасия Смирнова смогла понять.

– Чего твой отец умер? – спрашивал черноволосый и курчавый Эли.

– Болел, – отвечал русский, с хохолком на темечке мальчишка. – Пил гадость эту. Вот и умер.

«Гадость», – подумала Анастасия Смирнова и, не отдавая себе в этом отчета, улыбнулась.

Люди, бредущие от кладбища рядом, с осуждением смотрели на вдову. Ей было не положено улыбаться в этот день и в этом месте.

2000 г.

## Нет меня!

В детстве Феликс очень любил сказки. Особенно нравились ему волшебные истории о шапке-невидимке. Он все головные уборы в доме перемерил у зеркала. Мальчик трогательно верил в возможность своего исчезновения, но так и не смог стать невидимым на радость родителям.

Папам и мамам совсем не нравится, когда их дети исчезают. Нет, сами они эту пакость практикуют часто. Вот был в семье папа – и вдруг исчез. Бывает, и мамы пропадают... Все бывает на этом свете и чаще всего то, что и быть-то не должно...

Ладно, к делу... Феликс был добрым мальчиком, и он совсем не хотел огорчать своих родителей исчезновением. Он так и решил, что разные шапки не действуют, потому что он еще не готов расстроить близких своей невидимостью.

Тем не менее он продолжал тайком примерять чужие шапки. Соберутся гости на какой-нибудь праздник, оставят на вешалке головные уборы, а Феликс тут как тут; стул подставит – и тащит с полки фуражки, кепки, береты, шляпы, ушанки (если дело происходило зимой) и прочие головные украшения.

Все знали за ребенком эту слабость и прощали ему невольный беспорядок на вешалке. Гости даже смеялись над Феликсом и называли его «шапошником», а потом нарекли Шапой, и эта кличка накрепко пристала к ребенку.

Даже папа с мамой стали звать единственного и ненаглядного сыночка Шапой. И Феликсу нравилась эта кличка. Было в ней нечто невидимое, родное, теплое и желанное.

Шапа и в прятки любил играть до невозможности. Он всех уговаривал на эту игру. И прятался с удивительным искусством. Сначала папа и мама делали вид, что не могут найти сына, потом и притворяться им не пришлось. Шапа прятался с профессиональным искусством. И родителям приходилось сдаваться и громким голосом звать сына-невидимку, умоляя его откликнуться:

– Шапа! – кричали они. – Ты где?!

– Нет меня! – весело отзывался Феликс, вылезая из такой щели, куда нормальный ребенок никогда бы не смог втиснуться.

Со временем родители перестали играть с сыном в прятки. Жутковато им стало, неуютно как-то от фатальных исчезновений родного существа и невозможности сразу обнаружить свое чадо. И Феликсу пришлось искать партнеров на стороне. Поначалу с ним соревновались охотно, потом вечные проигрыши сделали эту забаву для всех, кроме самого Шапы, скучной.

Уже на десятом году жизни никто, кроме собаки соседа, не соглашался играть с Феликсом в прятки. Собаку эту мальчик сильно полюбил и всегда предлагал взять пса на прогулку.

Соседи радовались такому помощнику, а Шапа устраивал для себя праздник души. Он уходил с овчаркой в сквер, и там они весело и долго играли в прятки. Пес всегда находил мальчика по запаху. Феликс понимал это и не обижался, что его, невидимого, все-таки можно обнаружить.

На день рождения Шапе всегда дарили головные уборы. Все знали: лучше подарка для этого мальчика не найти. У Феликса скопилось множество шапок, целая коллекция. Он содержал подарки в полном порядке, регулярно устраивал чистку и смотр своего богатства, надеясь в тайне, а вдруг одна из шапок сделает его наконец совершенно невидимым.

Так Шапа и рос, с тайной надеждой на сверхъестественное, никому не рассказывая о фантастической мечте этой. Он понимал, что поведать людям о сокровенном – это и разрушить в себе тайную веру в чудо.

В семнадцать лет Феликс влюбился, да так сильно, что мечта о невидимости отошла на второй план. Он даже шапки перестал примерять. Он хотел ясности, простоты, силы и жил только миготом встречи с любимой, днем сегодняшним.

Но девушка не смогла полюбить Шапу. Она влюбилась в другого человека, и тогда Феликс подумал, что кончить жизнь самоубийством, – это и есть способ стать невидимым для окружающих. И здесь нет необходимости в волшебном головном уборе, а нужна обыкновенная веревка, камень на шее, бритва или пистолет.

Он тогда решительно и искренне выбирал способ стать невидимым, но об этом, к счастью, догадалась другая девушка, и она сказала Феликсу простую фразу:

– Шапа, милый, что случилось? На тебе лица нет.

– Совсем нет? – спросил Феликс.

– Совсем, – ответила девушка. (Ее звали Мариной.)

Феликс Марине поверил, подошел к зеркалу и увидел, что на нем и в самом деле нет лица. Все остальное есть, а лица нет. И Шапе все это понравилось. Он стал хохотать от радости, а потом заключил спасительницу свою в объятия и крепко ее поцеловал.

Девушка Марина только и ждала этого. Она ответила на ласки Феликса, и сделала это так умело, что примерно через час Шапа подошел к зеркалу и увидел: лицо к нему вернулось, и было оно, лицо это, в полном порядке.

Феликс снова захотел быть видимым, но продолжалось это недолго. Вскоре тяжело заболела мать Шапы. Болела она мучительно, но недолго – и умерла в коме, так и не придя в сознание.

Феликс очень любил маму. На кладбище, во время похорон, он явственно ощутил утрату половины своего существа. Понял, что отныне остается без защиты и любой злой человек сможет совершить над ним насилие.

В этот момент, на кладбище, он снова захотел стать невидимым. Тогда же Феликс невольно, вопреки всем правилам, нахлобучил кепку на уши. Он стоял так и плакал до тех пор, пока гроб с телом мамы не превратился в невидимку под землей. Тогда он успокоился как-то сразу. Отец взял сына под руку, и они ушли с кладбища вместе, говоря о том, какой замечательной женщиной была покойница и как теперь им будет не хватать ее.

Отец Шапы переживал искренне, но он никогда не хранил верность своей жене, мучил и расстраивал маму Феликса при жизни. У отца было множество внебрачных связей, и где-то через год вдовец объявил сыну о решении вновь связать свою жизнь с женщиной по имени Клара. Он даже устроил смотрины этой Клары.

Невеста появилась на пороге дома в огромной соломенной шляпе с цветами за розовой лентой.

«Она!» – в восторге подумал Феликс, но не о гостье, а о шляпе.

Потом они сели за стол, и Шапа не мог дождаться, когда он наберется смелости выскочить в прихожую и дрожащими от нетерпения руками примерить шляпку Клары.

Сын вдовца сделал это. Он поправил синие цветы за розовой лентой, поднял глаза на потемневшее от времени зеркало в прихожей – и ничего не увидел в нем.

– Нет меня! – радостно выдохнул Феликс.

– Перестань дурачиться, – сказал отец, появившись в прихожей. – И сними шляпу Клары. Ты ее помнешь. Почему ты выскочил из-за стола в самый неподходящий момент? Это неудобно наконец, тебя ждут.

Слова отца вновь сделали Феликса видимым. Он нехотя снял шляпу Клары и вернулся к столу.

– Мальчик, – кокетливо сказала немолодая женщина взрослому парню. – Ты так красив в своей молодости. У тебя есть избранница сердца? Скажи, ты полон любви?

– Ненависти, – сухо ответил Феликс, придвинув к себе тарелку с винегретом.

– И кого ты так ненавидишь? – улыбаясь, спросила Клара.

– Вас, – коротко ответил Шапа, сделав внезапно невидимым весь мир вокруг себя.

Он был в этом мире, а мира не было. Феликс тогда понял: только ненависть способна на это. Ненависть – это шапка-невидимка, могущая скрыть от глаз наших все сущее, кроме нас самих.

Шапа стал жить ненавистью. Он прогнал от себя девушку Марину. Он всех прогнал от себя, решившись на полное одиночество.

Феликс учился в университете, он общался с сокурсниками, он ходил на вечеринки, пил водку, ухаживал за девицами, но он ненавидел все вокруг до полной невидимости, но зато мог мериться с невидимым, не помышляя о самоубийстве, об исчезновении себя самого.

Он возненавидел одну девушку – Ольгу – больше остальных девиц и решил на ней жениться. Феликс получил диплом, устроился на хорошую работу и осуществил свое намерение.

В день свадьбы девушка Ольга сказала Шапе:

– Милый, спасибо тебе, что ты меня полюбил.

– Что ты! – улынувшись, ответил Феликс. – Я тебя ненавижу!

И девушка Ольга рассмеялась, думая, что ее суженый так шутит: непринужденно и весело.

Феликс стал жить семейно. Ничего особенного не было в его брачной жизни, кроме странной привычки дарить жене по всем праздничным дням головные уборы.

Ольге все это казалось наивной причудой. Она покорно становилась перед зеркалом, ожидая, когда Шапа собственноручно напялит на нее очередную шляпку или берет.

– Не то, – раздосадованно говорил муж, и Ольга охотно и торопливо стаскивала с себя очередное уродливое сооружение.

Ей не шли головные уборы. У Ольги были отличные волосы, и даже зимой она не любила прятать их в тесное тепло и темноту.

Но Шапа упрямо и тупо продолжал одаривать жену дурацкими шляпками, втайне и вновь надеясь на чудо. Он вдруг поверил, что, примеряя очередной подарок, его законная половина вдруг исчезнет, испарится, а вместе с ней исчезнет и греховная ненависть Феликса к близкому человеку.

Через пять лет Ольга родила сына, и Шапа понял – все это навсегда, и никакие шляпки ему впредь не помогут. В роддом он принес огромный букет цветов, и Ольга очень удивилась этому. Она была уверена: рождение сына ее муж и отец первенца отпразднует новым и нелепым головным убором.

Феликс увидел своего сына – и ровным счетом ничего не почувствовал. Так он вспомнил о том, что, кроме любви и ненависти, человек способен на третье состояние души – равнодушие.

Равнодушный воспринимает мир без боли и радости. Мир этот становится одноцветен и существует вокруг равнодушного бесплотными тенями, неспособными задеть тебя, огорчить или обрадовать.

Феликс стал жить в мире теней. Нет, он совершал положенные действия, ходил на работу, в необходимый момент говорил необходимые слова, встречался с друзьями, смотрел телевизор, посещал кино и театры, читал книги, но все это происходило с ним как бы по инерции, без заметного напряжения физических и духовных сил.

Происходило подобное, потому что Шапа напрочь утратил мечту стать невидимым. Он и так видел вокруг одни тени и себя считал тенью, существующей только при свете дня.

Ночью же, когда душа Шапы отлетала, он и вовсе переставал существовать, даже в образе тени. Так он жил долгие годы, пока не пришло время переместить себя в пространстве.

Но прежде случилась с ним еще одна случайная примерка. Однажды, собирая в осеннем лесу грибы, Феликс встретил странного старика в белом халате поверх замызганной телогрейки. Старик попросил у Шапы прикурить, и они разговорились.

– Тебе плохо, милый, – ласково сказал старик. – Ты хочешь исчезнуть, но не знаешь, как это сделать. Все твои головные уборы – дрянь, не годная ни на что. Тебе нужен терновый венец. Только пострадав, ощутив боль, ты сможешь излечиться от равнодушия и явиться в новом обличье перед другими людьми.

Шапа послушался старика. Он не нашел тернии, а сплел венок из колючей проволоки. Он примерил новый головной убор, но ничего не почувствовал, кроме досадной боли.

«Все верно, – подумал Шапа. – Меня нет. Вместо меня существует боль, страх новой боли и желание от всего этого избавиться».

Он сдернул венок. Прижег раны йодом и стал собираться в дорогу.

В новой географической точке было слишком много солнца. Так много, что привычные тени уплотнились до материальной значимости. Они стали разноцветными, шумными, свободными. И в свободе своей даже поднялись над землей.

Феликс был в панике. К нему вернулось страстное желание исчезнуть.

В отчаянии Шапа вспомнил о своей коллекции. К счастью, он захватил ее с собой.

В новой географической точке люди, несмотря на палящее солнце, терпеть не могли головные уборы. Врачи советовали носить их, но любая, даже самая легкая, панاما обрекала в этом климате на дополнительное, мучительное тепло. Врачи тем самым советовали людям пострадать во имя будущего здоровья. Но пациенты не желали жить завтрашним днем и предпочитали не мучиться от жары сегодня.

Люди вокруг были открыты солнцу, но Феликс упрямо носил свои головные уборы в любую погоду. Он начал с кепки – восьмиуголки с пуговкой, а назавтра отправился гулять в цилиндре... Каждый день он накрывал свои поседевшие и поредевшие волосы новой «крышей» и делал это без стеснения, потому что сразу понял: людям вокруг совершенно безразлично, чем он украшает свою персону.

Даже дети не обращали на Шапу внимания. Дети в этой географической точке вообще не обращали внимания на взрослых. Феликс был несказанно рад этому, потому что счел себя наконец невидимым, хотя бы для детей.

Даже родной сын Шапы перестал его замечать, увлеченный своими задачами и проблемами новой жизни. Да и жена Ольга давно научилась проходить мимо мужа так, будто его и не существует на свете.

Феликс прятался под тенью шапок, но мир, залитый солнцем, упрямо не желал его превращения в невидимку. Мир этот постоянно высвечивал Шапу, как изображение на пленке.

– А где вы купили такую красоту? – спрашивали Феликса.

– Можно подумать, что эту шляпочку вы получили в наследство от прадедушки. Скажите, он был не из Кишинева?

– Что вы себе позволяете, уважаемый? До Пурима еще далеко.

Здесь, в новой географической точке, не могла помочь утраченная любовь, забытая ненависть и благоприобретенное равнодушие. Феликс был отвратительно зрим на солнце, под безоблачным и высоким небом. Мало того, всем своим существом он чувствовал: зримость эта налагает на него обязанности, прежде неведомые.

И тогда, в полном отчаянии, он решил наконец проститься с жизнью. Ближе к вечеру, после работы, Шапа ушел на пустырь, захватив с собой мешок с головными уборами. Там, на песчаном склоне холма, Феликс вывалил всю свою коллекцию из мешка и поджег ее с разных сторон.

Костер разгорался плохо. Промасленный тяжелый фетр сопротивлялся огню, козырьки фуражек не желали плавиться, только прозрачная солома шляп вспыхивала покорно, легко и радостно.

К сумеркам он уничтожил свою коллекцию, а вместе с ней и детскую безумную мечту о невидимости.

Шапа сидел в темноте на все еще горячем песке, у догорающего, вонючего костра, и прощался со своим детством.

Он думал, что прощание это будет стоить ему жизни. Но Шапа ошибся, он благополучно выдержав испытание видимостью.

Потом Шапа услышал в темноте крики родных. Феликса искали.

– Шапа! – кричали сын и жена. – Ты где?!

«Я им нужен, – подумал Феликс. – Они волнуются. Я им нужен зачем-то».

– Я тут, – совсем тихо отозвался Феликс, почувствовав вдруг, что забытая легкая радость любви возвращается к нему. Подброшенный вверх этим внезапным чувством родства, он вдруг вскочил и заорал радостно: – Я здесь! Сюда!! Ко мне!!!

Его нашли сразу, но не стали спрашивать о причинах столь внезапного ухода в темноту. Впрочем, если бы жена и сын спросили Феликса об этом, он бы ответил им просто:

– Я спрятался, а вы меня нашли – вот и все.

*2002 г.*

## Шалом, Кецеле!

Рассказ о том, чего нет и быть не может в Интернете

У Леонида Зорина прочел: «Одиночество спасает от жизни, смерть спасает от одиночества. Всегда есть тропка из тупика». Выходит, что одиночество – прямой путь на кладбище. Вернее всего, так оно и есть, но человек живуч, изворотлив и хитроумен. Он придумал особую форму одиночества, способную имитировать жизнь во всей ее красе, – Интернет. Ничего более гениального за последний век мозг потомков Адама не выдал. Проще говоря, Интернет – спасение в одиночестве.

Волшебное, фантастическое это дело, но коварное. Любые голоса услышать можно: пение ангелов и гнусные вопли чертей. Человек у компьютера, как под контрастным душем, то он в сладком уюте райской прохлады, то душит его трупная вонь ада. Весь мир застрял в электронной паутине, все идеи, цвета, краски и запахи. Каждый у Интернета волен выбирать себе седника по своему вкусу. Мало того, активный пользователь сам может забросить себя, свои мысли, свою святость или свои пороки в необозримый космос информации. Какое поле открылось для тщеславных амбиций! Какая отдушина появилась, какая возможность «спустить пар»! Вот раньше некто В. должен был резать ножом кору несчастного дерева, чтобы запечатлеть на века свое имя при жизни, или кайлом выбивать его в скалах. Теперь этот В. может чистенько и без особых трудов донести до всего мира не только свое имя, но и свои мысли и чувства по любому поводу. И он доносит.

Есть в Интернете фантастическая, по количеству документов и томов, библиотека. Немыслимая, невозможная по своему объему. Совсем недавно о таком складе легко доступной информации можно было только мечтать. Вполне возможно, что изобретение это ниспослано человеку, чтобы смог он, как можно быстрее, вырваться из самого страшного одиночества – одиночества во Вселенной.

Но я увлекся, а хотел рассказать совсем о другом: об одной из тайн старого, доброго человеческого общения, а вот застрял на реальности виртуальной, казалось никакого отношения к моей давней истории не имеющей. Впрочем, и здесь мне пришлось задать вопрос Интернету. Совершенно дикий вопрос, настолько странный, что и на ответ не надеялся. Выглядел этот вопрос так: «Какими цветами был обозначен четырнадцатый трамвай в Ленинграде?» У нашего дома останавливались три трамвая: семнадцатый, девятнадцатый и четырнадцатый. Белый и голубой «глаза» девятнадцатого трамвая помнил, помнил и цвета семнадцатого – белый и желтый, а раскраску четырнадцатого забыл. Пишу запрос, жму на клавиши, две секунды ожидания – и передо мной подробный перечень всех питерских трамваев с исторической справкой и разноской цветов по номерам. Мой четырнадцатый трамвай был обозначен красным и синим цветом, но два года назад, как написано, этот маршрут «был снят». Бизоньи стада автомобилей заполонили узкие улицы старого Петербурга и начали вытеснять экологически чистый и благородный транспорт.

Почти полвека назад (нет! быть того не может) я нехотя вылезал из постели под звуки гимна великого и нерушимого, а в начале седьмого часа уже топтался на углу Кировной и Литейного в ожидании огня четырнадцатого трамвая: красного и синего.

Я тогда работал на Ленинградском металлическом заводе им. Сталина, токарем в 24-м, инструментальном цехе. Четырнадцатый трамвай шел на Пески и останавливался как раз у проходной завода.

Утренний маршрут всегда был многолюден и дышал вонючим, человеческим теплом, особенно зимой. Втиснувшись в вагон, как правило, приходилось стоять, вцепившись в поручень. Всегда старался занять место, поближе к электропечи под сиденьем, а устроить на этом сиденье тощий, холодный зад и вовсе было праздником души и тела.

Зимой грязно-белые, морозные узоры закрывали окна трамвая, но я все равно, по характеру перестука колес, знал пункты маршрута: вот под нами Литейный мост, затем крутой поворот у Финляндского вокзала, а дальше – прямой путь по Кондратьевскому проспекту...

Основная масса пассажиров толпой вываливалась из трамвая у Металлического завода, и я шел в этой массе к проходной, нащупывая в кармане пропуск, а за турникетом охраны брел дальше, через складские заснеженные пустоши к теплу родного цеха.

Трамвайный билет стоил три копейки. Если не ошибаюсь, никаких «долгоиграющих» проездных документов тогда не было, как не было и ящиков кассы, куда нужно было опускать монету и откручивать с бобины лоскуток билета. Билеты тогда продавали живые люди. В четырнадцатом трамвае чаще всего занимался этим старик, ярко выраженной семитской внешности. Не помню, как он был одет, вернее всего, точно так же, как и все остальные граждане Ленинграда полвека назад. Помню только его шерстяные рукавицы с обрезанными «пальцами» и сами эти пальцы – красные от холода, с темной каемкой под ногтями.

Однажды я узнал, как зовут старика.

– Что, Абрашка, замерз? Холодно сегодня? – сказал кто-то из пассажиров, получая билет и сдачу из «обрезанных пальцев».

Старик что-то ответил своим обычным, каким-то хриплым, будто простуженным и чем-то всегда недовольным голосом. Им же он объявлял остановки:

– Полюстровский – выходим... Улица Жукова.

Помню, что обиделся тогда за продавца билетов. Солидный человек, а его пренебрежительно Абрашкой кличут. Стало досадно, что старик на это амикошонство никак не отреагировал, ничего такого сердитого пассажиру не сказал, а «проглотил» Абрашку спокойно, будто и не ожидал никакого другого обращения.

Должен признаться, что к пятнадцати своим годам национально я был ориентирован слабо. Нет, я ясно сознавал, к какому народу принадлежу, ничуть этого не стыдился, еврейство свое не прятал, но и не делал никаких попыток образовать себя по этой части, да и мое еврейское окружение вело себя в лучшем случае пассивно, медленно сползая в навязанную ассимиляцию. Вот и я сползал туда же.

Как получилось, что именно этот «Абрашка» стал толчком в проснувшемся интересе к своему народу – не знаю, но произошло именно это. Не зимой, а в сентябре, когда начались занятия в вечерней школе.

Все тот же четырнадцатый трамвай, ныне не существующий, я еду домой после занятий. Поздно, хочется спать. В трамвае пусто. Старик – продавец билетов – дремлет и даже не считает нужным объявлять остановки.

А мне не спится. Я сижу и разглядываю дремлющего старика, и мне вдруг начинает казаться, что этот сутулый, горбоносый человек совершенно случайно оказался на своем обычном месте у центрального входа в трамвай-американку, что он попал сюда по чьей-то злой воле и даже прикован цепью к железной основе сиденья. Собственно, и о себе самом я вдруг так подумал. Почему я здесь, в этом скрипящем всеми суставами старом вагоне? Кто приковал меня к маршруту четырнадцатого трамвая, отмеченного, в ночи, синим и красным цветом.

И вдруг я увидел широко открытые глаза старика. Он смотрел на меня и улыбался. Прежде я никогда не видел улыбку на губах продавца билетов. Морщинистое лицо «Абрашки» мне всегда казалось застывшей, скорбной маской. А теперь он смотрел на меня, улыбаясь, и уже не казался таким несчастным стариком, прикованным к своему месту.

Он поймал мой ответный, удивленный взгляд и произнес еле слышно: «ШАЛОМ, КЕЦЕЛЕ».

Я уже знал, конечно, что такое «шалом», но почему-то это слово в устах незнакомого человека подействовало на меня удивительным образом: я вдруг испытал что-то вроде вне-

запно нахлынувшей радости, даже восторга, словно я, инопланетянин, тоскующий от одиночества, вдруг встретил посланца с родной планеты. То, что случилось со мной в результате услышанного приветствия, было похоже на неожиданный приступ вдохновения, когда тебе кажется, что ты всесилен, все тебе по плечу, а впереди жизнь, полная радости настоящих достижений.

Впрочем, продолжалось это недолго. На остановке ввалилась в вагон шумная, мокрая от дождя и возбужденная чем-то компания, и улыбка на лице старика погасла. Он принимал от новых пассажиров копейки и уже не смотрел в мою сторону.

Так случилось, что больше я «Абрашку» в трамвае не встречал. Наверно, заболел старик или ушел на пенсию, но одной этой встречи, одного слова ШАЛОМ оказалось достаточно. Я стал с жадностью выискивать все, что тем или иным боком касалось Израиля и евреев. Я все это копил с жадностью скряги и складывал в картонную папку с тесемками: редкие книги, брошюры, черно-белые фотографии, вырезки из газет. Все найденное, как правило, носило юдофобский совковый характер, но я был рад любому продолжению того неожиданного слова, обращенного ко мне незнакомым стариком, в загаженном вагоне трамвая.

Он улыбнулся, сказал ШАЛОМ, КЕЦЕЛЕ – и будто перенес меня совсем в иное измерение, заставив отныне жить совсем иначе, словно открыл передо мной дверь, прежде накрепко запертую. Что такое КЕЦЕЛЕ я тогда понятия не имел, да и сейчас не знаю, но по тону догадался, что за словом этим стоит тепло и нежность.

Сегодня моим детям и внукам здесь, в Израиле, не объяснишь, что значили для меня эти два обычных слова, сказанные стариком – продавцом трамвайных билетов осенью 1961 года. Они конечно же примут за глупость и чудачество мою уверенность, что именно с этого момента и начался мой и их путь в Иерусалим. Но это так. Все наше нынешнее бытие началось с той неожиданной улыбки старика «Абрашки». Не уверен, кстати, что звали его именно так, да и не важно это.

Важно другое: подаренное этим человеком чувство родства и возможности обретения себя самого и своего рода.

Пройдут годы, я сочиню свою первую русско-еврейскую повесть: «Дело Бейлиса», поставлю точку и вдруг вспомню старика – продавца билетов. Вспомню так ясно и живо, с таким чувством благодарности, что захочу посвятить именно ему это свое сочинение. Не посвятил, напечатал без посвящения и до сих пор жалею об этом.

Вот только теперь, видимо в знак благодарности, уплаты душевного долга, я записал эту историю и подумал, что при всей космической мощи Интернета ему не по силам многое. Не найти в нем, к примеру, настоящего имени старика – продавца трамвайных билетов, нет и меня самого у поворота судьбы, когда родная душа инопланетянина улыбнулась щербатым ртом и сказала ШАЛОМ, КЕЦЕЛЕ мальчишке-пассажиру, узнав в нем земляка с родной планеты.

*2001 г.*

## Собака – тоже человек

Зимой, в шесть утра, на улице все еще темно, и за витриной парикмахерской всегда горит тусклый свет, а в допотопном кресле, перед зеркалом, сидит, развернувшись лицом к двери, маленький, седой старичок – хозяин парикмахерской – Дани Крафт.

Так на афише значится: «ДАНИ КРАФТ. СТРИЖЕТ И БРЕЕТ».

Из рекламы можно отметить еще одну, пожелтевшую от времени, бумажку. На ней сообщается, что хозяин понимает русский язык.

Иногда, в теплое и погожее утро, Дани Крафт стоит на улице, у двери своей парикмахерской и приветствует каждого проходящего мимо.

Мне он сказал однажды вот что:

– Зачем надел петлю на животное? Собака – тоже человек.

Он сказал это, а я сразу полюбил Дани Крафта за сказанное. Так полюбил, что однажды сел в кресло перед мутным, по краям, зеркалом его парикмахерской.

– Стричься, бриться? – спросил Дани, включая «праздничную» люстру под потолком.

– Стричься, – сказал я. – Уже побрит.

– Это тебе только кажется, – приглядываясь к моей поредевшей шевелюре, определил Дани Крафт. – Наша щетина не хочет покидать хозяина. Бог нас не любит с голым лицом. У еврея щетина, как правило, резиновая.

– Не понял, – удивился я.

– Она боится бритвы и прячется, – объяснил Крафт. – Не хочет бриться. Ты снял щетину аккуратно, а через пять минут снова небрит. Я всегда бреюсь дважды, с паузой.

– Хорошо, – кивнул я, тронув ладонью щеку. – Пауза есть – бреемся.

Через месяц снова опустился в кресло салона Дани Крафта.

Пустую завязку той, нашей беседы исключим. В конце процедуры, после стрижки, разговорились о мастерстве.

– У меня простой девиз работы, – сказал Крафт. – Молодой должен уйти отсюда красивым, а старый – молодым.

– Сделай меня сразу молодым и красивым, – попросил я.

– Это невозможно, – покачал головой Крафт. – Ты в парикмахерской, а не в цирке.

Возраст – ему было трудно работать. Руки начинали дрожать в самый неподходящий момент. Но Дани Крафт – мастер настоящий – трудился в минуты невольной слабости «на автомате».

Во время третьей стрижки узнал, что репатриант он давний – с 1974 года, а до переезда «ударно трудился» в лучшей парикмахерской города Гомеля.

– Нас отпустили сразу, – сказал Дани. – Той лохматой стране не нужны были парикмахеры. Я даже обиделся, как быстро меня отпустили. И сказал жене Берте, что обиделся. А жена Берта сказала так: «Кому ты нужен, Даниил, кроме жены и детей». А теперь дети совсем взрослые, а Берта умерла... Выходит, я никому не нужен? – Он даже перестал щелкать ножницами, и внимательно посмотрел на меня в зеркале.

– Ерунда, – бодро возразил я, возмнив себя великим утешителем. – Ты нужен любому, кто заходит в твою парикмахерскую.

– С каждым днем все меньше таких, – вновь приступил к работе Дани. – Старые клиенты уходят туда, откуда не возвращаются, а новые ко мне не торопятся. Ты видел, какие сейчас роскошные салоны строят?

– А кто тебе мешает свою парикмахерскую отреставрировать? – спросил я. – Посмотри: стены обшарпанные, кресло музейное, в зеркало твое только по центру смотреть можно.

– Ты прав, – не обидевшись совершенно, кивнул Крафт. – Знаешь, и деньги на ремонт есть, и человек я не жадный, а боюсь чего-то, сам не знаю чего... Вот думаю: изменю я здесь все, а зайти в новое помещение не смогу. Чужое оно будет. Понимаешь?

– Нет, – сказал я. – Ты, Дани, мастер настоящий, но как алмаз без шлифовки. Можешь стать бриллиантом, а не хочешь.

Он не сразу ответил на мою банальную образность, да и заговорил как-то нехотя:

– Мы с мамой из эвакуации вернулись в сорок шестом году. Мне как раз пятнадцать лет исполнилось. Пришли к своему старому дому, а там уже наши соседи – Оноприенки – живут. Хорошие люди, старые знакомые. Они нам обрадовались и сказали, что помещение сразу освободят, потому что всегда уважали моих дедушку и бабушку, погибших от фашиста, и в память моего отца, павшего смертью храбрых в боях за Советскую родину... Нас с мамой оставили ночевать, а утром мама сказала: «Посмотри, Данька, стены вроде наши, а внутри даже запах не наш. Нет, не буду я здесь жить, не смогу. Да и зачем нам двоим такой большой дом».

– Призраков она боялась, горькой памяти, – сказал я.

Дани Крафт усмехнулся.

– А здесь, ты думаешь, в этих стенах, их нет, призраков-то?

– Может, и есть, – сказал я. – Только они не стригутся и не бреются. Кассу с ними не сделаешь.

Он не ответил. Задумался. Лишь освободив мою шею от простыни, сказал так:

– Мастер, да, – ты правильно сказал. А теперь растолкуй, почему людям этого мало? Почему им еще побелка свежая нужна? Да я в своем плохом зеркале лучше клиента вижу, чем мои соседи на целой выставке новых зеркал. Разве не так?

– Дани, – поднимаясь, сказал я. – Это старый и пустой спор. Человеку приятно сидеть в уютном, чистом и красивом помещении. И с этим ничего не поделаешь.

– И что твоему человеку важнее? – сердито продолжил Крафт. – Красота эта для вида или качество обслуживания?

– И чистота и качество, – сказал я.

– Так не бывает, – вздохнул Крафт. – Помнишь, ты хотел уйти от меня молодым и красивым? Что я тебе сказал?

– Ты сказал, что это невозможно именно в моем случае, – сказал я. – Но у скольких людей есть еще на это шанс.

– Может быть, – неопределенно пожал плечами Дани Крафт. – Может быть.

Так получилось, что месяца два не заходил к старому парикмахеру. А когда появился на том углу, увидел, что в салоне Крафта начат капитальный ремонт.

Я тогда подумал: сяду скоро в новое кресло перед чистым и новым зеркалом и скажу хозяину, что теперь начинается у него вторая жизнь и от клиентов отбоя не будет.

Сделали ремонт быстро, и недели через две парикмахерская открылась во всем своем великолепии. Теперь там стояли два кресла, а не одно, но за креслами этими не было старого мастера.

Вошел, спросил у молодого парня, скучающего в углу за низким столиком с журналами, куда подевался Дани Крафт.

Он сказал, что понятия не имеет. Дело они с женой купили. Где живет прежний владелец, не помнит. Адрес и телефон есть в договоре, но все документы у него дома.

Тут появился обросший клиент, и парень приступил к работе. Мне тогда показалось, что мастер он никудышный, а может быть, только показалось это.

Адрес Крафта дали мне в соседней овощной лавке.

– Привет! – сказал старик, широко распахнув дверь. – Видел, я тебя послушался. Теперь там не парикмахерская, а музей красоты.

– А ты здесь, – сказал я.

– Как видишь, – не стал спорить Дани. – Что мне делать в музее?.. Да ты проходи.

В салоне небольшой квартиры было полно призраков старых вещей.

– Нет, – сказал Дани. – Сначала и не думал продавать... А потом... День там поработал – не мое. Все не мое! Понимаю, что дурь старческая, глупость, а не мое... Вот продал молодым... По дешевке отдал, хорошие ребята... Из Винницы... Не получился из меня брильянт в оправе.

И тут я увидел, что уголок свой из старой парикмахерской Дани Крафт не выбросил, а перенес полностью к себе домой. Вот кресло допотопное, вот тумба и зеркало, тусклое по краям.

– Ладно, – сказал я. – Некогда мне, извини. Я к тебе постричься пришел.

– Это ты правильно сделал, – обрадовавшись, засуетился Дани. – Это ты молодец. Ты смотри, я сюда свет хороший провел... У меня тут все в полном порядке для старого клиента. Мы еще поживем!

– А куда торопиться? – сказал я, усаживаясь в продавленное, неудобное кресло с вытертым бархатом подлокотников.

– Как собака твоя? – спросил Крафт, вытащив из тумбы чистую простыню, расправил ее, взмахнув, как белоснежным, но победным знаменем. – Снял удавку с шеи?

– А как же, – ответил я. – Собака – она тоже человек.

*1998 г.*

## Положительный образ

Рассказ солдата

Нас как учили в советской школе? Очень даже просто: образы в литературе бывают положительные и отрицательные. Вот Герасим и Муму – положительные образы, а помещица – образ отрицательный, Нагульнов с Давыдовым из «Поднятой целины» – положительные, а Половцев, вражина, очень даже отрицательный. И так далее и тому подобное. Причем учителя, добрые люди, нам не лгали. Они толковали не о людях живых, а о этих самых «образах», какими их задумывали авторы, о героях литературных.

Наивные и глуповатые ученики понимали те давние уроки буквально, а умные ребята сразу усваивали, что жизнь – это одно, а литература – другое.

В жизни все гораздо сложнее. Да и с литературой все не так просто. Выяснилось, например, что тот же Давыдов вовсе не такой уж положительный образ, а один из тех, кто замучил рабством и голодом русскую деревню. И так далее.

Все это я вспомнил, записывая рассказ солдата.

Он начал так: «Бывают люди – ты такого хоть и видишь, даже пошупать можешь, а их вроде бы и нет. Вот этот наш Вася был точно такой. Тенью жил, как-то по касательной. В армии так существовать трудно, но он умудрился проходить «бочком» и молча все три года.

На нем все было, как с чужого плеча. Форма сидела как-то нелепо. Даже имя он носил чужое. Вася, да с таким еврейским носом – один конфуз.

Я ему говорю однажды: «Слушай, Ткач (у него еще и фамилия была чужая – Ткачев), ты бы имечко поменял. Давай мы тебя Велвелом звать будем. Ну, Велей. Все-таки ближе к телу, так сказать. И что ты думаешь, он мне просто ничего не ответил. Улыбнулся криво и промолчал. Вот урод: нос кривой и улыбка кривая. Я его раз попробовал Велей кликнуть, не отзывается.

Этот Ткач никому в друзья не лез. Никогда в увольнительную не ходил. Не было у него никого в Израиле. И знаешь, чем он занимался в свободное время: вот не поверишь: носки вязал из шерсти и свитера. Это в нашем-то климате мужик-солдат сучит спицами. С ума можно сойти. Ладно, мы в свободной стране живем. Не хочет человек «светиться» и не надо. Хочет вязать на спицах, пусть вяжет. А в свободное от рукоделия время Ткач учил иврит. Ну, это хоть понятно. В страну он прибыл один, без родителей и всего два года назад по учебной программе.

Служил Вася нормально. Солдатом был дисциплинированным. У командиров не было к Ткачу претензий. В походе, на учениях он лямку свою тянул, как положено, никого не подвонзил. Сторожевое дело тоже исполнял нормально. Вот он и получил, так сказать, право быть таким, каким был, ни на кого не похожим.

Слушай дальше. Я уже сказал, что молчаливее этого Васи человека не встречал. Все попытки контакта он с «порога» отвергал. Самую его длинную речь хорошо помню. Он, знаешь, как с ребятами познакомился. Вошел, опустил мешок на пол и говорит: «Мое имя Василий. Я ничего ни у кого не прошу. И сам ничего не даю. Вы уж извините, ребята».

Кто-то его спросил:

– Ты жадный, выходит?

– Очень, – кивнул Вася.

Ну мы тогда посмеялись такой откровенности. Потом видим, все с ним, как было сказано. И сам ничего не просит, и другим ничего не дает.

Не пил ничего с градусом, даже пива, и не курил. В магазине отоваривался редко. Купит большую бутылку самой дешевой минеральной воды – вот и все его удовольствия. Куда только деньги девал, солдатский паек, непонятно. Все-таки шестьсот шекелей на всем готовом.

Было подозрение, что он из сектантов. Спросили напрямик: смеется, рот свой тоненький кривит в улыбке. Потом решили, что он из «голубых». Подослали к нему одного «Эдика» из другой части. Тот разбежался – и совсем зря. Потом нам и говорит: «Нет, мальчики, он не из наших».

Тогда девушку к нему одну подослали. Не девушка, а «всегда пожалуйста». Только спасибо скажет. Эта, дуреха, уж как старалась. Он и на нее ноль внимания. Тогда кто-то догадался, что Вася и вовсе не человек, а инопланетянин, а с такого какой спрос. Может, они там, на своей альфе Центавра размножаются почкованием.

Так мы и прослужили с этим инопланетянином все три года. Потом, когда демобилизовался, просматривал армейские фотографии. Веришь, ни на одной этого Васи не было, будто он нам всем приснился.

Мы тогда договорились ровно через год, после дембеля, встретиться. Ну, посидеть хорошо, потрепаться, бывшее вспомнить. Мне поручили всех ребят обзвонить. Тут я и спохватился, что у Ткача никогда телефона не было, и никаких координат этого Васи не имеется. Спрашиваю у ребят, никто не знает. Был человек – и пропал. Ладно, что делать: промаячил он одиночкой в армии и на гражданке, видать, решил продолжить свое несчастное существование. Тут только пожалеть человека можно, что еще?

Встретиться мы договорились в Хайфе. Один из нас знал там отличный и дешевый кабак. У меня в этом городе была одна девочка знакомая. Мы с ней и раньше встречались. Вот я и решил «двух зайцев убить». Приехал в Хайфу часа за два до встречи. Думал домой закатиться к этой девчонке. Но у нее, как назло, «пересменка» случилась: переезд с одной съемной хаты на другую. Меня, как положено, запрягли. Час грузчикам помогал, носил самое хрупкое и родное. Вот невезуха! Потом мне нежный поцелуй достался – и все. Пора делать ручкой. Ребята ждут.

Девчонка мне и говорит: «Езжай на метро, как раз до места». А встретиться мы должны были в центре города. Я на нее вылупился: какое в Израиле метро? Есть, говорит, пойдешь прямо, до угла, а там площадь с фонтаном – и увидишь.

Вот теперь я вам скажу, что в нашем жарком государстве есть все, даже метро в городе Хайфе. Восемь лет в стране прожил, а ничего не знал о таком удивительном транспорте.

И какое метро замечательное: на «канатку» похоже и на детскую железную дорогу. Три вагончика всего: справа вход, слева выход, один путь на станции и два перрона. А остановок целых пять: двадцать пять минут можно ехать под землей. В моторном вагоне машинист сидел усатый и очень важный. Он станции объявлял, обслуживал пассажиров, а было их всего четверо: семейка рыжих, патлатых, и я.

И тут на одной из станций входит в вагон сам Вася Ткачев. Увидел он меня, попятился, но тут двери закрылись за его спиной.

– Все, – говорю, – Васек, ты попался. Со мной поедешь, на встречу армейских друзей. Как жизнь, рассказывай. Да ты садись, садись. А может, ты старого товарища узнавать не желаешь?

– Нет, почему? – говорит Вася и садится рядом со мной. – Я тебя сразу узнал.

– И сбежать хотел?

– Хотел, – он и не стал спорить.

Смотрю на этого Васю. Он и в гражданском наряде, как в чужом. И сидит так, неловко, будто за билет не заплатил, а едет «зайцем».

Тут мы и прибыли на конечную станцию. Как-то быстро кончилось это симпатичное, но очень уж игрушечное метро.

– Так ты, – спрашиваю, – идешь со мной.

– Куда?

Называю адрес и говорю, что там кабак, по сведениям местных людей, отличный.

– Я не хожу по ресторанам, – тихо говорит Вася.

– Ладно, – говорю. – Я за тебя эту сотню несчастную выложу. Ты что – не работаешь?

– Работаю.

– И где?

– Здесь, в порту, грузчиком.

Нет, с этим Васей не соскучишься. Надо сказать, что все мы, после армии, и перед учебой нашли себе работку не пыльную. Должен человек отдохнуть хоть немного после ратных трудов. А этот псих!.. Нет, стало мне тут противно от жадности человеческой так, что на этого Ткачева смотреть расхотелось, на его нос кривой, улыбку кривую и плохо выбритую черную щетину на маленьком подбородке. Вот, думаю, мерзкий тип. И зачем я его с собой тащу. Зашибает бабки бешеные на своей черной работе, а я ему еще содержание предлагаю, пожалел бедного.

Но тут он как мысли мои прочитал.

– Сто шекелей, – говорит, – не проблема. А потом ты забыл, наверно, я ничего ни у кого никогда не прошу.

– Тебя забудешь, – бурчу и вдруг завелся: – Что ты за человек такой, Ткач? Три года вместе лямку тянули. Под камнями стояли, под выстрелами, а никто о тебе ничего не знает. Может, ты шпион какой?

Улыбается своей кривой улыбочкой.

– Вот так, – говорю, – всю дорогу. Тебя спросишь, а ты молчок. Тоска, Вася, ты уж извини.

Тут мы пришли по адресу. Заведение оказалось и в самом деле симпатичным, и ребята уже ждали за дубовым столом. Все очень Васе удивились. Никто не ожидал его увидеть. Ну, сел Ткач и вокруг него, по обыкновению, будто колпак образовался из пуленепробиваемого стекла.

Мы выпиваем, мясом жареным закусываем, языками чешем, а он сидит молча и на всех нас смотрит, как чужой, но улыбается криво, мерзко. И зачем я его с собой притащил?

– Вась, – говорю. – Ты хоть пива выпей, обижаешь компанию.

– Пива? – говорит. – Можно.

Заказал я ему большую кружку. А потом и забыл о Ткаче. Очень уж мы с ребятами разошлись, вспоминая дни веселые. Потом смотрю, он эту кружку высосал всю до капли и смотрит на нашу компанию опять же с улыбкой, но не обычной – прямая получилась у захмелевшего Васи улыбка.

Тут я и понял, что настает для нашего друга «момент истины».

– Вась? – спрашиваю. – У тебя твои крючки-спицы с собой? Связал бы нам что?

– Вам-то зачем? – говорит Вася. – В Израиле разве думаешь, что на себя надеть. Здесь мечтаешь все с себя побыстрее снять.

Во, какую длинную фразу выдал! Ребята на Ткача вылупились, будто в первый раз его увидели.

Шимон даже поднялся во весь свой баскетбольный рост:

– Ты чего сказал, повтори.

Вася повторил, только еще добавил, что в конторах кондиционеры работают. Там даже холодно бывает, но этот холод не на пользу, потому что выходит человек на улицу, в жару – и сразу может простудиться от перемены климата.

– Класс! – сказал Шимон, сел и сразу допил свой фужер с вином до капли.

Потом снова все пошло по-старому. Только я Васе еще одну кружку с пивом заказал. Очень уж мне понравилась его разговорчивость. И не зря позаботился о товарище. Он потом меня проводить вызвался до Центральной автобусной станции. А по дороге вышел у нас вполне человеческий разговор, без умолчаний и кривых улыбок.

– Извини, – сказал тогда Вася. – Мне пить нельзя, потому что мой папа был алкоголик. И мама всегда просила, чтобы я ни капли, никогда. Отец от цирроза печени умер, совсем молодым. Я его плохо помню.

– Так это ты «по маме» в Израиль попал? – спросил я его.

– Ну да, а что, какая разница?

– Не в разнице дело, а почему она тебя одного к нам отправила?

– Бабушка, папина мама, болеет очень... Мама ее с собой взять не может, она русская, а как оставишь? Меня бабушка растила, потом сестру Олю.

– Родную сестру?

– Сводную... Мама хотела еще замуж выйти, не получилось, а Оля получилась. Ты не думай – она отличная девчонка.

– Так, – сказал я. – С тобой все ясно... Хотя нет. Ты один мужик на троих женщин, как же они тебя отпустили?

– Все просто: в русской армии денег совсем не платят, – сказал Вася. – А в нашей сто пятьдесят долларов... Я деньги эти им посылал. Они на них и жили. Понимаешь, бабушка совсем не двигается, за ней уход какой нужен. Мама подрабатывает время от времени, но гроши. Сестренка в шестом классе учится. Ей еще работать рано.

– Так ты все деньги в Россию посылал?!

– Ну а мне-то они зачем, на всем готовом.

Тут у меня ноги дальше не пошли. Встал на тротуаре, через дорогу от автобусной станции, и дальше мне идти совсем неохота. Я на жизнь во всем мире почему-то обиделся, что есть такая проклятая бедность, когда три женщины за тысячу километров от наших мест прожить смогли только потому, что этот Вася Ткачев получал свои несчастные доллары в Армии Обороны Израиля.

– Ну теперь порядок, – сказал я и двинулся дальше. – Много им посылаешь?

– Конечно, – обрадовался Вася. – И себе оставляю. Мы с одним человеком квартиру снимаем на двоих.

– Ткач! – заорал я. – Ты – женился?!

– Нет, – улыбнулся он. – Еще не совсем... Может быть, скоро.

– Все будет замечательно! – я продолжал орать. – Бабуля твоя помрет, и мама с сеструхой к тебе приедут. Заживете!

– Не нужно ей помирать, – нахмурился Вася. – Пусть живет. Знаешь, какая она хорошая. Хочешь, я тебе фотографию покажу.

Он вытащил бумажник и показал все свое семейство: и маму, и бабушку по отцу, и сестренку от неизвестного дяди-подлеца, который не захотел жениться на его маме.

Мне эта сестренка очень понравилась.

– Знаешь, – сказал я Васе. – Когда твоя сестра вырастет, ты нас обязательно познакомишь, ладно? Я смотрю, и нос у нее нормальный, не то что у некоторых.

– Оля через год приедет, учиться по моей программе, – сказал Вася.

– Тоже будет домой деньги посылать?

– Ну зачем? – Ткач даже обиделся. – Моей зарплаты на всех хватит.

Мы еще посидели в ожидании автобуса, по мороженому слопали. Я хотел было рассказать Васе о себе, но не смог этого сделать. Как-то стыдно стало. Нет у меня, похоже, в этой жизни проблем. Тут я о носках и свитерах вспомнил.

– Слушай, Вася, это ты им вязал на спицах?

– Им, кому же еще. Знаешь, как в Мурманске холодно.

Автобус мой въехал в положенный пенал. Стали мы прощаться, пожали друг другу руки, а потом я этого сукина сына приобнял и даже чмокнул в висок. И знаешь почему? Из благодарности. Потому что раньше я думал, что на свете хороших людей совсем мало, а с того дня стал в этом сильно сомневаться».

Вот какой рассказ. И я тоже тогда задумался невольно, а вдруг школьные учителя литературы в этом самом СССР были правы: есть положительные образы на свете, и не только образы, что удивительно, но и люди.

*1998 г.*

## Мальчик и женщина

Славянск. Соленое озеро. В нем не утонешь, даже при желании распрощаться с жизнью. Женщине – 30 лет, а мальчику – 15. Отдых на природе, летние каникулы 1960 года.

Тогда мальчик узнал, что в стране евреев есть такое же озеро. Женщина сказала:

– Это озеро называется Мертвым. Там ничего не растет, и рыб нет, но я бы назвала это озеро Добрым. В этом озере живое утонуть не может. Человек утонуть не может. Вот как здесь.

Женщина сказала это мальчику в воде, во время купания. На берегу никого не было. И они обнимались во время этого разговора. Ей нравился тощий и горячий мальчишка, а ему в тот год очень хотелось избавиться от своей невинности. Так хотелось, что «преклонный» возраст случайной подружки не мог стать препятствием для объятий.

В воду женщина заходила, не снимая блузку с длинными рукавами, пуговицы на запястьях она не расстегивала никогда, но мальчика эта странность не волновала, так как пуговицы на груди женщины были в его власти.

Она, казалось, была на все готова. Вся – обещание счастья, от пяток до макушки. Женщина как будто знала толк в плотской любви, но сама казалась девочкой, из-за роста, наверно, и маленькой, острой груди.

– Когда? – спрашивал мальчик, неловко кусая ее губы. – Когда?

– Завтра, милый, – говорила женщина. – Ты потерпи. Все будет, обещаю тебе. Только не нужно торопиться.

«Не нужно торопиться», – говорила она, а сама дразнила мальчика всем, чем могла дразнить: телом своим и словом.

Они часто гуляли в дубовой роще, целовались без удержу, а когда уставали целоваться, держались за руки и говорили о разном, но бестолково, почти в бреду.

Однажды женщина сказала с неожиданной ясностью и даже холодом. Сказанное так запомнилось:

– У свободы человеческой много значений. Толковать ее можно по-разному. Я думаю, что главное рабство – это физическая невинность. Мучительное, страшное рабство. Моисей спас евреев не от тяжкого, подневольного труда. Он сделал наш народ взрослым, вывел его к своей земле, к своему государству, к своей истории. Раб – невинен в бесправии и душевном невежестве. Беда не в том, что ноги невольника в колодках. Мозг раба в цепях, а плоть бесплодна. Раб рождает раба... Я хочу быть твоим Моисеем. Я выведу тебя из рабства невинности. И сорок лет мне для этого не понадобится. Я сделаю это сейчас. Хочешь? Хочешь?

– Хочу, – сдавленно отвечал мальчик, мало что поняв в рассуждениях женщины. Он и не старался понять.

– Подожди, подожди немного, – вновь останавливала его жадные руки женщина. – Предчувствие свободы иногда лучше самой свободы. Ты и это поймешь когда-нибудь.

Так она играла с ним. Так она мучила мальчика. Он не мог спать. Он вставал по ночам и отправлялся к окнам дома женщины. Их разделяло тонкое стекло окна – и только. Женщина была близко. Она ровно дышала во сне за этим стеклом. Он знал точно: на ней невесомая пижама. И больше ничего не было под этой пижамой. Мальчик звал ее, вышептывая имя, но женщина ничего не слышала даже тогда, когда он стучал ногтем по стеклу.

Женщина спала спокойно. Женщина давно потеряла невинность. Она казалась себе свободным человеком, и зов плоти не мучил ее так, как бедного мальчика.

Однажды рано утром, совсем рано, еще до рассвета, ему удалось разбудить женщину.

Она распахнула окно, спросила негромко и сердито:

– Что тебе?

– Пойдем, – сказал мальчик. – Я не могу больше.

– Хорошо, – неожиданно и покорно согласилась женщина. – Я сейчас.

Они направились к дубовой роще. Мальчик вел женщину к стогу старого сена, и она знала, куда он ее ведет.

За стогом, на опушке, было поле под паром. Мальчик и женщина окунулись в тяжелый дух чернозема. Особенно сейчас, влажным ранним утром, дух этот заполнял все пространство, и поле дымилось под первыми лучами солнца.

– Знаешь, – сказала женщина. – Возьми меня на руки и перенеси вон туда, на ту сторону поля, и там я стану твоей вся. Я вешу немного, тебе не будет тяжело. Пусть это станет твоим переходом через пустыню рабства.

Она говорила еще что-то с привычным пафосом, но мальчик уже поднял женщину и шагнул с травы в черные волны пахоты.

Идти предстояло недалеко – метров пятьсот, не больше, но к концу пути мальчику показалось, что он преодолел марафонскую дистанцию. Его ноги вязли в пахоте. Он с трудом вытягивал их из черной рыхлой земли. Тело женщины на его дрожащих руках тощего подростка с каждым шагом становилось все тяжелее и тяжелее.

– Миленький, – шептала она. – Потерпи, родной... Там, там...

Но ему было уже все равно, что случится «там». В какой-то момент он даже возненавидел свою ношу, и мальчику захотелось бросить женщину на землю, освободиться от этой непосильной, изнуряющей, убивающей его тело тяжести.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.